

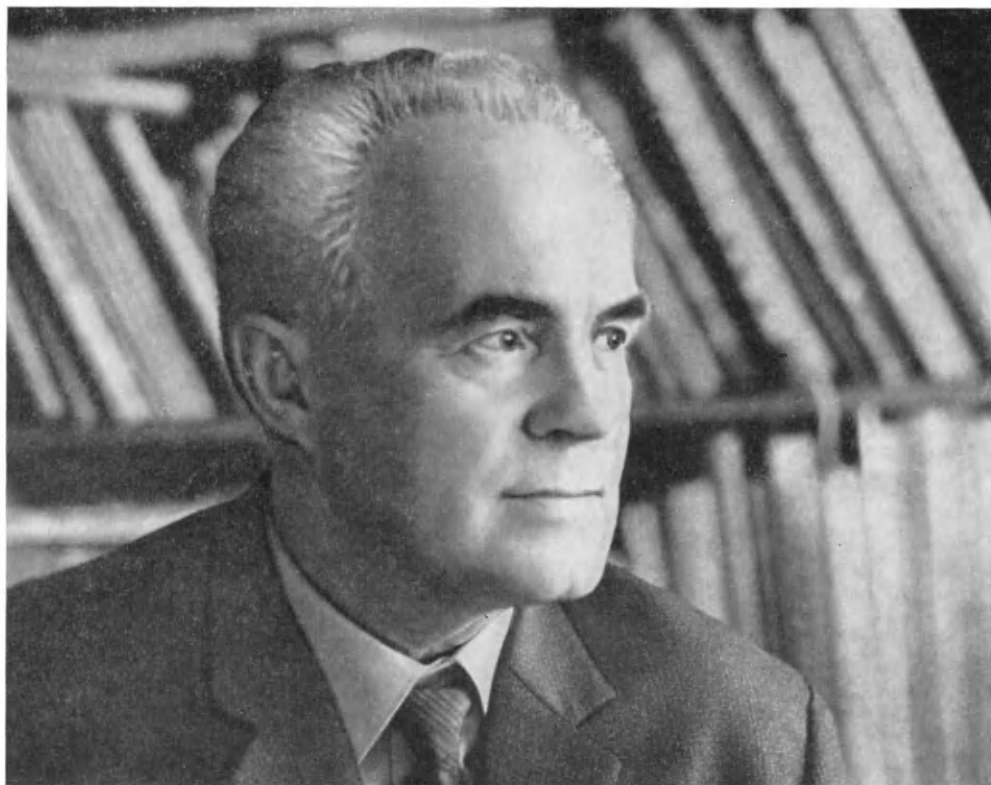


Г. СТРОНК

По Карелии



Издательство «Карелия»
Петрозаводск
1972



Chapman

Г. Стронк.По Карелии

Воспоминания,
зарисовки

Scan+DjVu: AlVaKo
20/06/2025



Каждый, кто хоть раз побывал в Карелии, навсегда запомнит своеобразную и неповторимую красоту этого края. Недаром многие художники своим творчеством были связаны с землей Калевалы.

Еще студентом заинтересовался Карелией и я. Перелистывая в библиотеке Академии художеств страницы дореволюционных изданий, я много любопытного узнал об истории Олонецкого края, а когда представилась возможность поехать туда в составе фольклорной экспедиции, с готовностью согласился и не был обманут в своих надеждах и ожиданиях. Эта поездка решила мою дальнейшую судьбу: после окончания учебы я, не раздумывая, отправился в Карелию на постоянную работу, и с тех пор вся моя жизнь связана с этим удивительным краем, его замечательными людьми, природой.

Каждое время года в Карелии имеет свою прелесть, и глаз художника находит что-то привлекательное даже в непогоду.

Хорошо в Карелии весной. В лесу еще много снега, но он сильно осел и потерял белизну, а местами засыпан хвоей. На кустах резко очертились ветки. Опали последние зимовавшие на деревьях

листья и лежат на снегу в углублениях, словно придавив его своей тяжестью. Деревья стоят в черных блюдцах из подтаявшей земли.

А как чист и прозрачен воздух! Им не дышишь, его пьешь, как жидкий бальзам, он бодрит, наливает мышцы силой.

На снежных полянках и среди деревьев — следы четвероногих и птиц. Время от времени попадают глубокие вмятины, оставленные тяжелым животным. Тут прошел лось — гордость северных лесов.

Особенно хорошо в эту пору побывать где-нибудь на берегу озера, еще одетого в серо-синий ледовый панцирь. Его задумчивая тишина нарушается лишь вкрадчивым шелестом тающего у берегов льда.

Весеннее солнце, быстро расправившись со снегом, пронзило своими лучами лед — он стал рыхлым, игольчатым, по нему уже опасно ходить. Удивительно красива его цветовая гамма. В нее входят приятные тепло-белые и серо-синие тона, богатые различными оттенками. Если выбросить кусок льда на берег, он, словно груда битого хрусталя, зажигается бесчисленными яркими огоньками, отражающими весь солнечный спектр. Вся эта цветовая симфония быстро меняется от первой набежавшей тучки: краски становятся неприветливыми, хмурыми, а на озере — даже угрожающе-темными. Но вот тучка пробежала мимо, молодое ясное солнце вновь ласково озарило все вокруг, и старые прибрежные камни засверкали обнаженными лысынами — они первыми скинули зимние шапки, приветствуя красавицу-весну.

На северных склонах гор пугливо прячутся от солнца потускневшие заплатки снега. Но стоит их только копнуть поглубже, как под ногами весело заискрятся огоньки алмазных россыпей. Эти последние яркие вспышки уходящей зимы так привлекательны, что с детской восторженностью запускаешь руки в обжигающие холодом кристаллы и лепишь из них тяжелые снежки. Руки быстро мерзнут, краснеют, пальцы становятся непослушными, деревянными, но до чего ж хорошо на душе!

Когда вдруг увидишь первого муравья, который, озабоченно шевеля усиками, неуверенно прокладывает себе путь по осевшему снегу, когда услышишь веселое журчание талых вод или робкое пение какой-нибудь птицы, сердце закипает радостью. Острое чувство жизни заполняет все твоё существо, зовет к творчеству.

А какая поистине неземная красота воцаряется на земле Калевалы в белые ночи! На все созданное природой и людьми как бы опускается прозрачный таинственный покров. Нет, наверно, на земле человека, которого не взволновали бы жемчужные сумерки Севера.

...Не очень улыбчиво лето в нашем суровом краю, тем острее чувствуешь его тепло. Солнце с девичьей нежностью обнимает тебя и ласкает. Хочется как можно дольше испытывать это чудесное ощущение. Совсем не так на юге, где солнце жжет настойчиво и грубо.

В летний наряд оделись не только растения, но и огромные валуны, скинувшие ранней весной белые шубы и украсившие себя полупрозрачными одеждами из мхов и лишайников.

Лесные лужайки, словно пестрыми конфетти, засыпаны цветами. На полях среди нагретых солнцем камней показались первые ягоды земляники.

Лето, словно опытный живописец, создает сложную зеленую гамму с бесчисленным количеством оттенков и окрашивает в нее поля, луга и леса.

Но пройдет время — и желтизна, как седина, пробьется в кудрях берез и осин, тяжелее станут воды Онего, и реки все больше будут напоминать свинцовые ленты. Погаснут в лесу и у озер костры туристов и рыбаков, и небо без солнца станет печальным и слезливым. И все-таки есть свое, ни с чем не сравнимое очарование в этом времени года.

Хорошо ранней осенью побродить в лесу, посидеть у озера. Еще не холодные ветры гонят на берег волны. Их шум и ритм удивительно

Ворота в Ладугу. Бумага, секия.



успокаивают нервы. Невольно залюбуешься красотой кружевной пены, ее замысловатым, будто вышитым бисером, рисунком. А пройдешь в глубь леса — словно окажешься в уютной квартире. Звук прибоя затихает, и ветра не чувствуешь, только где-то вверх шепчутся кроны.

В детстве я любил в осенние непогожие дни забираться на самое высокое дерево и с его верхушки наблюдать за разгулявшейся стихией. Крепко вцепившись руками и ногами в ствол и раскачиваясь вместе с ним, я, как мне казалось, проникал в ее тайны. Но однажды это увлечение едва не кончилось печально. Взорвавшись как-то на высокую, стоявшую отдельно от других сосну, я промерз настолько, что счел благоразумным спуститься на землю. Где-то вдали слышались раскаты грома, и молния судорожно перечеркнула хмурое небо. Едва я отошел от дерева, как неожиданно был сбит с ног, оглушен и ослеплен какой-то страшной силой. Не знаю, сколько я пролежал, но, когда пришел в себя, увидел, что моя могучая сосна рассечена до самых корней...

Настоящую осень замечаешь не постепенно, а как-то вдруг. Обычно это случается в солнечный день, когда остывшее светило отдает природе свое последнее тепло. Запылают огнем лиственные красавицы и станут кокетливо глядеться в синие зеркала озер. Но безжалостный осенний ветер налетит и с разгону вцепится в трепетные листья, сорвет и бросит на землю, породившую их.

...Первые заморозки. На открытых местах легкий снежок припудрил землю. Какое удовольствие шагать в это время по лесу, по богатому желто-красному ковру из листьев, чувствовать ногами его пружинистую мягкость.

Поздней осенью пейзаж утрачивает свою живописность, становится графичным. Белизна снега подчеркнута серым небом и почти черной водой. На фоне серо-свинцовой цветовой гаммы необыкновенно красиво выглядят отороченные снегом черные смоляные карбасы. Их уже вытянули на берег, на зимний отдых. А какими неземными кажутся обыкновенные карельские «баинки» и амбарчики, уютно расположившиеся у самой кромки воды! Их крыши под первым слоем снега смотрятся нарядно и празднично. В безветренную погоду отражения этих построек в черном зеркале воды таинственны и загадочны.

Но вот, наконец, пришла зима. Под пушистым белым одеялом уgomонилось и уснуло Онего. Засыпаны снегом крестьянские избы и изгороди. Почему-то, глядя на все это, вспоминаешь детство, волшебные сказки и еще что-то далекое и приятное.

Удивительна тишина зимнего леса с причудливыми очертаниями деревьев, пней, разлапистых веток, пригнутых к земле пушистой тяжестью снега. Почти музыкальным кажется шум скользящих лыж, так мягко нарушающих эту заповедную тишину. Много потерял тот, кто не бывал в зимнем лесу на лыжной прогулке, не видел этой чарующей снежной

фантазии, не слушал зимних сказок карельского леса. Скользишь все дальше и дальше — грудь наполняется чувством ликующего счастья жизни, здоровья... Да, поистине неопишима красота карельской природы во все времена года!

Когда я приехал в Карелию, передо мной, молодым художником, открылись заманчивые перспективы. Отдел народного изобразительного искусства научно-исследовательского института культуры, где я получил должность научного сотрудника, ставил своей задачей собирать образцы вышивки и ткачества, изучать их национальные особенности и, что меня особенно интересовало, — делать зарисовки пейзажей и портретов сказителей. Все это было связано с частыми выездами в районы республики. Мы знакомились с вышивкой, ткачеством и резьбой по дереву, за короткое время приобрели чудесные полотенца, станушки, подзоры, украшенные старинным, с большим мастерством и вкусом выполненным орнаментом. Некоторые образцы наших находок и сейчас служат украшением коллекций Карельского государственного краеведческого музея и Карельского филиала Академии наук СССР.

Значительно реже встречалось шитье жемчугом. Нам все же удалось приобрести несколько образцов такого шитья. Особенно красивы были серьги из мелких жемчужин, напоминавшие ширококрылых бабочек.

Перебираясь из района в район, из деревни в деревню, я все больше восхищался талантливостью местных умельцев, проявлявшейся в са-





мой различной форме. Сколько образцов подлинного декоративного искусства встретили мы в карельских деревнях! Среди них были удивительные вышивки на полотенцах, скатертях и простынях, плетенные из бересты предметы домашнего обихода, резьба по дереву и роспись на прялках, сундуках, ларцах, милые по форме и пропорциям ушаты с крышками, кадушки, деревянные крынки и т. д. Во дворе можно было увидеть красивые расписные сани, дуги, хомуты. Поражали своей изысканностью детали домового резьбы: чудесные резные крыльца, наличники, «полотенца» и другие.

Я пришел к выводу, что северный край — неисчерпаемый кладезь разнообразных талантов. Передвигаясь на лодке, пешком, иногда и на волокушах, я знакомился с жизнью, бытом и характерами моих будущих героев. Замечательные народные умельцы, сказители, с которыми меня столкнула судьба за четверть века работы в этом чудесном крае, навсегда остались в памяти, многие из них запечатлены в моих работах.

В дни, когда отмечалось 100-летие первого издания карело-финского эпоса «Калевала», я в составе праздничной комиссии прибыл в село Ухту (теперь Калевала) — центр Калевальского района, названного в честь великого народного эпоса.

Это древнее село раскинулось на берегу озера Среднее Куйто. Ознакомившись с селом и желая с максимальной пользой использовать имевшееся в моем распоряже-



На сплавной реке. Офорт.

нии время, я почти сразу же приступил к зарисовкам местных сказителей. Любезные хозяева района предоставили для моей работы большой кабинет в помещении только что отремонтированной поликлиники. Оборудование еще не успели установить и она пустовала. В помощь мне дали «курьера» с лошадью, запряженной в сани. В его обязанность входили розыски и доставка необходимых мне людей. За день я считывал сделать несколько набросков.

Мне удалось зарисовать внучку знаменитого певца былин Архипа Перттунена — Татьяну Алексеевну Перттунен. Довольно крупная голова прямоугольной формы, в повойнике зеленого цвета, высокая фигура, не согнувшаяся под бременем лет, строгость и неторопливость в движениях — такой мне запомнилась эта женщина. Она жила одна и сама выполняла все мужские работы. С виду неласковая, неразговорчивая, она оживлялась только в кругу хорошо знакомых людей, с которыми говорила на родном карельском языке. Молча, с достоинством сидела народная поэтесса на стуле. Только изредка вздрагивали ее тяжелые, нависшие веки и плотнее сжимались тонкие губы.

Я знал, что Татьяна Алексеевна гордится своим происхождением из рода Перттуненов, что она, унаследовав дар сказителя, создает самобытные произведения народного творчества. Как и Еуки Хямяляйнен и Мария Михеева, потомки старых рунопевцев, хранившие древние песенные традиции, Татьяна Перттунен воспела новое Сампо, которое принесло народу счастье.

Марию Ивановну Михееву я тоже рисовал. Это была небольшого роста, очень живая женщина. Она знала много рун и сказов, которые



Татьяна Перттунен, народная сказительница КАСР. Бумага, сангина.

слышала еще в детстве от отца и бабушки. Обладая исключительной памятью, запоминала руны с одного прослушивания.

Изучая ее привлекательное, с мягкой улыбкой лицо, я старался постичь, откуда у этой женщины берутся силы и смелость одной выезжать на рыбалку даже в ветреную, ненастную погоду. Как-то раз я с тревогой и восхищением наблюдал, как Мария Ивановна, застигнутая штормом в открытом озере, выгребала на берег. Дул свирепый ветер, и, казалось, волны вот-вот захлестнут лодку. Когда Михеева наконец сошла на землю, я смотрел на нее как на победителя стихии, а она, по всему было видно, не придавала этому эпизоду никакого значения...

В Калевальском районе я зарисовал еще двух сказительниц — Мауру Максимовну Хотееву и Марию Андриановну Ремшу, с которыми познакомился еще в Петрозаводске, в Институте культуры.

Особенно запомнилась мне Мария Ремшу — бойкая восьмидесятилетняя старушка. Сложнейший лабиринт морщин и морщинок покрывал все ее лицо. Она была большая любительница посмеяться. Мне почему-то всегда казалось, что смеется она над своим возрастом, не мешавшим ей быстро ходить и опережать меня, когда мы поднимались на второй или третий этаж. Когда мы ходили по городу, она непременно брала меня под руку и, отчаянно кокетничая, изображала из себя увлеченную девушку. А ходила она так быстро, что буквально волочила меня за собой. Несмотря на то, что мы не понимали друг друга, с ней всегда было весело.

С Ухтой у меня связан курьезный случай. Расположившись в предоставленном мне для работы пустовавшем кабинете поликлиники, я отправил своего «курьера» за одной из местных жительниц, с которой намеревался сделать портретную зарисовку. Минут через двадцать она уже была у меня. Не зная финского языка, я жестом показал ей на стул и предложил раздеться, а сам стал прикалывать бумагу и готовить принадлежности. Когда я обернулся, моя натура уже снимала... рубашку, как потом выяснилось, приняв меня за доктора. Мой незадачливый помощник не потрудился объяснить, куда и зачем везет ее. На следующий день об этом происшествии знал весь поселок.

Все эти милые моему сердцу люди из Калевальского района были широко известны и любимы в нашей республике. За творческие заслуги они не раз отмечались правительственными наградами. А теперь, когда их уже нет, на домах, где они жили, установлены мраморные мемориальные доски.

Как реликвию, жители поселка Калевала охраняют сосну, под которой, по преданию, доктор Лённрот записывал руны и беседовал с ухтинскими сказителями. Калевальцы гордятся тем, что их родные места так тесно связаны с созданием памятника мировой культуры — «Калевалы».

Для художников, любителей старины и природы, для всех, кто интересуется культурой деревни, ее художественным творчеством и особенностями северного искусства, Заонежье — обетованная земля. Из-за трудности сообщения с этим краем сюда долгое время не проникали ни грамотность, ни новая мода, ни какое-либо иное городское влияние. Потому-то здесь и сохранились надолго дедовские обычаи, старинные сказания, былины и песни, чистый, подлинно русский язык.

Известно, что еще в 70-х годах прошлого века Рыбниковым и Гильфердингом были открыты в Карелии великие богатства народного эпического и лирического творчества. Многие знаменитые певцы былин, талантливые вышивальщицы, работы которых экспонировались на международных выставках, народные умельцы и строители были жителями Заонежья.

Север когда-то избежал монгольского нашествия, и это немало способствовало жизнестойкости замечательных традиций деревянной архитектуры, выражению в них духа свободолюбия и независимости. Кижский острог давно воспеты писателями, поэтами, художниками. В энциклопедиях любой страны можно найти справку об этом чуде-памятнике. Но никакие, даже самые поэтические описания и живописные картины не в силах передать и доли их величия и очарования.

Особенно сильное впечатление ансамбль производит при заходе солнца. На фоне гаснущего светила теряются детали, и здания выглядят монументальнее. В такие минуты это создание человеческого гения настолько органично связано с землей, что кажется исторгнутым ею...

Двадцатидвухглавый Преображенский храм, как чудесная песня северного народа, вознесся над просторами Онега. Его могли сотворить только люди с богатой духовной жизнью.

Многое повидал за свою долгую жизнь Преображенский храм. Он был молчаливым свидетелем тяжелой, подневольной жизни крестьян, их страданий и борьбы. Он мог бы рассказать, как Кижский погост стал центром крупнейшего восстания крестьян Заонежья, которое было жестоко подавлено «просвященной» царицей Екатериной Второй. Каленым железом клеймили «возмутителей». Их казнили или ссылали на пожизненную каторгу.

А сколько в нашем крае менее знаменитых памятников! Как интимно милы часовенки, поднимающиеся среди остроконечного елового леса, как удивительно точно нашли для них место строители-поэты! Мы должны приложить все усилия, чтобы эти памятники народного зодчества сохранились и для будущих поколений.

...С Заонежьем у меня связаны впечатления о моем первом полете. Небольшой гидросамолет, на котором я вылетел в Заонежье в составе фольклорной экспедиции, мог взять только двух человек. Начальник



Мария Ремшу, народная сказительница КАСР. Бумага, карандаш.

экспедиции, фольклорист А. Д. Сойманов, занял место рядом с пилотом, а мне пришлось втиснуться в узкое отверстие в хвосте самолета и сесть на мешок с почтой. Машина была открытой и, если у пилота и его соседа впереди были ветровые стекла и сидели они глубже, то мое положение было менее завидным: я торчал из самолета, как пробка из графина.

Нас провожали друзья, желали попутного ветра. Когда мы заткнули уши ватой и на голову надели кожаные шлемы, был запущен мотор. Пропеллер вначале вращался нехотя, потом — с яростной быстротой. Самолет развернулся, легко заскользил по гладкой синеве озера. Меня распирало чувство восторга, хотелось петь, и я даже попытался исполнить марш авиаторов «Все выше, и выше, и выше». Но вдруг поднявшийся за хвостом бурун окатил меня с головы до пят. Я втянул голову в плечи, боясь, что буду смыт водой. Когда холодный душ прекратился, я осторожно открыл глаза и увидел, что озеро проваливается куда-то вниз... Вспомнив, что на берегу остались провожающие, я хотел помахать им рукой, но ветер с такой силой отбросил ее назад, что я снова почувствовал себя не очень уверенно на своем месте. Минут через тридцать мы, как с крутой горы, пошли на посадку, и я еще раз принял холодную ванну...

Первый человек, с кем мне удалось близко познакомиться в Заонежье, был живописец Иван Михеевич Абрамов, унаследовавший от отца искусство писать иконы. Кроме того, он расписывал дуги, сани, столлярничал, паял, чинил часы, склеивал посуду и умел делать многое другое. Отец его был еще универсальней, поистине мастер на все руки. Он вдобавок и сапожничал, и печи клал, и надгробные эпитафии сочинял.

Когда я встретил Ивана Михеевича Абрамова, он был уже глубоким стариком. И он и жена его, некогда лучшая вышивальщица района, давно лишились зрения, но, прожив всю жизнь в своей избе, отлично ориентировались в ней и на улице без посторонней помощи.

Мне пришлось довольно долго объяснять, стоя у порога, кто я и что мне надо, и, только узнав, что я — художник, хозяин пригласил меня войти. Он сидел за столом спиной к окну, высокий, сухощавый, какой-то напряженный. Довольно длинная, но жиденькая седая борода поднималась по впалым щекам до самых глаз. Казалось, он не дышал. Широко открытые глаза, подернутые молочной пеленой, ничего не выражали.

Время было трудное, и я привез из Петрозаводска гостинцы. Старуха пошла ставить самовар.

Я приезжал к Ивану Михеевичу дважды, и оба раза с интересом слушал его рассказы о давно ушедшей молодости, об учебе в сельском училище, которое он окончил с похвальным листом, о том, как с двенадцати лет он расписывал дуги и сани и только с сорока двух лет начал писать иконы, и то лишь по причине болезни отца. Говорил он медленно, старательно выговаривая каждое слово, не делая лишних движений,



Кижі. Линогравюра.

не жестикулируя. Когда мы гуляли по двору или выходили за калитку, он шагал уверенно, хотя и не быстро. Мы останавливались у самых красивых домов, и Иван Михеевич подробно рассказывал, кто и когда их «срубил», кто расписывал. Его память хранила и цветовые сочетания росписей. Особое впечатление на меня произвели избы с балконами, украшенными крупной росписью, и с трогательной детской наивностью расписанными наличниками.

Иван Михеевич предпочитал работать на зеленом фоне, любил изображать пятилепестковый распластанный цветок шиповника, иногда с бутонами или яблочками. Расписные прялки и дуги Абрамова отличались тонким рисунком и очень приятной расцветкой. У него было много подражателей. К сожалению, мне удалось видеть лишь несколько работ Абрамова, да и то у соседей, которым он их подарил.

Как мастер-живописец Абрамов пользовался широкой известностью в Заонежье. Даже из Шуньги, крупного торгового центра, где жили наиболее богатые крестьяне, к нему поступали заказы. Популярность Ивана Михеевича была настолько велика, что им в свое время заинтересовался крупнейший знаток русского национального искусства профессор Академии художеств И. Я. Билибин. Как-то в беседе со мной он рассказал, что бывал в деревне Космозеро, помнит расписной дом Абрамовых и знаком не только с его хозяином, но и с хозяйкой, слывшей в то время искусной вышивальщицей.

Когда я встретился с Иваном Михеевичем второй раз, мы уже беседовали как добрые знакомые. Я рассказывал об организации в республике Союза художников, о перспективах его работы, а он все сокрушался, что некому «перенять» у него опыт иконописца, «секреты» росписей.

На прощание престарелый художник подарил мне два рисунка своего сочинения — своеобразные эскизы для украшения прялок и дуг и две книги. Одна из них, вынутая из сундука, завернутая в домотканую холстину, была рукописной и представляла собой трактат для древних богомазов, поучавший, как изображать лики святых и их одежды, как готовить дерево, грунт, краски, как работать золотом. Ею пользовалось не одно поколение иконописцев. Передавая мне рукопись, Абрамов со вздохом сказал, что берег ее для сына, но ему она вряд ли теперь понадобится. Сын Абрамовых не вернулся с войны, но они, как и всякие родители, не могли примириться с этой мыслью и продолжали ждать...

В Заонежье, в деревне Гарницы, я познакомился с Петром Ивановичем Рябининым-Андреевым — представителем знаменитого рода Рябининых, известных далеко за пределами своего края.

Север России издавна был главным хранителем русского богатырского эпоса. Из поколения в поколение, от отцов к сыновьям, переходил



И. М. Абрамов, иконописец. Бумага, уголь.

ли былинные традиции. Певцы былин считались самыми уважаемыми и популярными людьми на селе.

За много лет знакомства с Петром Ивановичем Рябининым-Андреевым мне удалось прослушать весь его репертуар. Носитель крепкой эпической традиции, он первым у нас попытался создать новый современный героический эпос. Он слагал былины об Антикайнене, о героях гражданской войны. Я знал, что он работал над былиной о Кижском восстании.

Петр Иванович был интересным собеседником и острословом. Его рассказы, сказки, анекдоты всегда вызывали дружную реакцию у слушателей. Не раз, когда на вечерней зорьке в безветренные дни мы рыбачили на лудах, он рассказывал такие истории, что я радовался отсутствию вокруг людей. Но по улыбкам женщин и девушек, встречавших нас на берегу, догадывался, что они все слышали. Видя мое недоумение, Рябинин объяснил, что в тихую погоду звуки прекрасно передаются по воде и на берегу можно услышать все, что говорится на озере. А «поозоровать» на воде он любил, потому что знал — его слышит вся деревня, да и «девок не стыдно».

Был Петр Иванович охотник до всяких забавных проделок. Особенно мне запомнился случай, в котором «жертвой» оказался я сам.

Не помню уже, зачем и куда я направлялся, но дорогу мне указал Петр Иванович, предупредив, что кое-где тропа идет в таких зарослях, что придется ползти на карачках... И действительно, прошагав с полчаса, я углубился в густой кустарник, где пешеходы проложили нечто вроде тоннеля. Шагать в этой зеленой трубе было и в самом деле очень трудно. От непривычного марша на согнутых ногах страшно заныла спина, задрожали ноги. И как же было приятно, наконец, выпрямиться во весь рост и поднять голову. Но тут в мое лицо ткнулось что-то холодное и мягкое. Откинувшись назад, я с ужасом увидел на ветке ядовитую змею-медянку. Я не мог оторвать взгляда от ее желтого брюшка и спинки цвета старой бронзы. Только через несколько секунд понял, что змея мертва. Стало ясно: какой-то сукин сын нарочно повесил ее на точно рассчитанное место. «Хошь, не хошь, а мордой в нее ткнешься», — объяснил мне потом Рябинин, который и оказался упомянутым «сыном». А сделал он это для того, чтобы «девок пугать»...

Первый рисунок Рябинина-Андреева я создал еще работая в Институте культуры. Живописным портретом занимался у него дома в деревне. Запомнилась многочисленная семья Петра Ивановича, состоявшая из пятнадцати человек. Большинство ее членов непременно присутствовали при наших сеансах и очень мешали своим любопытством.

Будучи по натуре подвижным человеком, Рябинин, позируя, быстро уставал и томился от безделья. Лицо его приобретало мученическое выражение, глаза слезились, рот кривился, и он переставал быть похо-



П. И. Рябинин-Андреев, народный сказитель КАСР. Бумага, уголь.



жим на себя. Работать становилось трудно. Чувствуя это, Петр Иванович начинал рассказывать что-нибудь веселое. В глазах его появлялись лукавые искорки. Смеялся рассказчик, смеялись все слушатели, и тогда уже работу приходилось прекращать до следующего раза. Так мне и не удалось написать с него приличного портрета.

С одним из талантливых исполнителей былин — заонежанином Федором Андреевичем Конашковым мне довелось впервые встретиться в стенах Института культуры. Это был старик высокого роста, ходивший осторожно, величаво державший свое тучное тело. Конашков произвел на меня неясное впечатление. Наблюдая за ним во время записи былин, я чувствовал какую-то отрешенность их исполнителя от жизни. С явной неохотой, глухим сиплым голосом, без всякого воодушевления тянул он поэтические фразы. Глаза его, опущенные вниз, иногда вдруг начинали подозрительно смотреть по сторонам. Казалось, он чего-то ждет, чего-то опасается.

Собираясь заняться портретированием, я внимательно всматривался в свою натуру, отмечая для себя ее характерные особенности. Несколько одутловатое лицо, покрытое густой сетью морщин. Маленькие светлые глаза, будто замаскированные зарослями седых всклокоченных бровей. Цепкий, внимательный взгляд. Длинная, буйно разросшаяся борода. Натруженные руки с узловатыми пальцами.

У себя в деревне, в привычной



Утро в лесу. Офорт.

домашней обстановке, Конашков казался более простым и доверчивым. Здесь в часы работы над его портретом я слушал повесть о давно ушедшей молодости, о жизни в непрерывном труде. За свою долгую жизнь Федор Андреевич занимался всеми видами крестьянской работы, бывал и на лесозаготовках, рыбачил. Былины и сказки, «понятые» им у деда, охотно рассказывал рабочему люду, зимой — в прокопченных дымом избушках, летом, белыми ночами, — на рыбалке. За шестьдесят лет Конашков только однажды выезжал в уездный город Кемь и два раза ездил в Вытегру. Только в конце жизни, когда его «открыли», он стал бывать в Петрозаводске, Ленинграде, Москве. В 1937 году Михаил Иванович Калинин вручил народному сказителю в Москве орден «Знак Почета». Конашков с удовольствием вспоминал, как Калинин потчевал его чайком с пирожками, которые были вкуснее даже, чем печет его жена Маланья. Орден он носил при себе в коробочке и никому в руки не давал...

Когда я думаю о Заонежье, сердце мое наполняется каким-то особым теплом, может быть, потому, что там судьба столкнула меня с такими сердечными, милыми, гостеприимными и талантливыми людьми. И почему-то всегда вспоминаются целые табунки заонежских ребятишек, которые, как полевые цветы, окружали меня всюду.





Шормит. Офорт.



Ф. А. Конашков, народный сказитель КАСР. Бумага, карандаш.

В интереснейший уголок Карелии — Пудожский район — я ездил еще до войны, когда жил в Ленинграде. Собираясь в эту поездку, испытывал сильное волнение в ожидании встречи со стариной. И не обманулся в своих надеждах. Мне посчастливилось слушать былины от глубоких стариков, речь которых была насыщена уже давно забытыми в других местах словами из древнего лексикона. Яркая выразительность языка, патриархальные взгляды и удивительная непосредственность в поведении этих обаятельных людей усиливали впечатление старины.

Когда я увидел известного сказителя Пудожского района, жившего на Купецком озере, Ивана Терентьевича Фофанова, одетого в длинную домотканую рубаху и подстриженного под «горшок», мне почудился в нем один из древних посланцев «господина Великого Новгорода». Только трубка, которую он время от времени посасывал, роднила его с нашим веком. Русая борода, чуть-чуть с хитрецей доверчивый взгляд, светлые, с веером морщинок, глаза, манера говорить не торопясь, оригинальный слог — все это как-то сразу располагало к нему. Вот какой рассказ был записан от него в те годы сотрудником нашего института.

«...В кончи-кончов я вырос порядочно, поженился, отделился. Дом мне отец не дал, характером был не очень важный, строжил нас... Лет десяц по лисям путался — полесовал. Потом жил у озера, заправил снасти, ловил рыбу. Поработал у крестьян, у богачков у справных. Прископилось детей пятеро, двое померло. В домике жил худом... Потом я, знаешь ты, и дом выстроил...»

Много приятных дней провел я в деревне, работая над портретом Фофанова. Сидел он хорошо, охотно рассказывал и часто пел былины. Серьезным и значительным становилось тогда его лицо, грубел голос, жестче обозначались морщины. Казалось, в эти минуты он отключался от действительности и чувствовал себя участником героических подвигов русских богатырей.

Но каким же земным и лукавым становился он, когда начинал рассказывать какую-либо забавную историю или сказку. А знал он их неисчислимое множество. Будучи страстным рыболовом, Иван Терентьевич «загибал» такие охотничьи рассказы, что слушатели только недоверчиво чесали затылки.

Как-то поведал он мне, что в своей маленькой речушке, «пымал такую шшуку, что чуть допер до дому». Я, говорит, взвалил ее на плечо, а хвост и голова по земле волочатся... Вся деревня вышла глядеть, како чудо я ташшу...»

Но случилось так, что однажды я сам неожиданно стал героем щучьей охоты. В один из чудесных карельских вечеров собрались мы с Иваном Терентьевичем на рыбалку. Пока шли к речке, мой шеф, не

умолкая, давал советы и наставления. С уверенностью глубокого знатока он знакомил меня с повадками разных рыб.

Незаметно подошли к намеченному месту. Солнце уже коснулось горизонта и купалось в спокойной воде. Прозрачная тень начала окутывать деревья. Загадочнее становилась река. Словно расплавленный металл, лениво катила она свои воды.

Подготовив снасти, мой спутник остался ловить на берегу, а я решил перебраться на торчавший из воды округлый камень. Взявшись за него, быстро размотал леску и забросил приманку как можно дальше от себя. Стоять с вытянутыми вперед руками, не имея удобной опоры, было очень трудно. Едва леска погрузилась в воду, как сильный рывок чуть не стянул меня с камня. Сердце заколотилось со страшной силой: «ага, попалась!» Но радость была преждевременной — проклятая рыбина продолжала тянуть, не давая передышки.

Вдруг в мои уши ворвался истошный крик: «Ташши, ташши — шшука!» Это вопил мой бывалый партнер. Более неподходящий момент для подобного «указания» выбрать было трудно. Сделав неосторожное движение, я плюхнулся в воду. К счастью, было неглубоко и, побарахтавшись какое-то время, я встал на ноги, крепко сжимая в руках удочку.

По берегу мчался ко мне мой наставник, не переставая кричать: «Ташши... шшука!» Меня задело, что Фофанов, казалось, не придавал никакого значения тому, что я едва не утонул, но я заметил, что даже он был взволнован моим пока еще сомнительным уловом.

Немного отдышавшись, я стал пятиться к берегу и тянуть удилище кверху. Оно согнулось, затрещало, но начало поддаваться...

Щука, доставшаяся мне с таким трудом, весила более пяти килограммов. Такую рыбину я поймал впервые... Иван Терентьевич с похвалой отозвался о моих рыбацких способностях, но как бы вскользь заметил, что когда я вынырнул из воды, то чем-то напомнил ему морского окуня... «Неужели глазами?» — с ужасом подумал я.

В той же деревне проживал и другой сказочник — Никита Антонович Ремизов, двоюродный брат и приятель Фофанова. Приземистый, моложавый старик с черными как смоль волосами и смуглой кожей, Ремизов скорее напоминал жителя юга. Это был на удивление веселый и жизнерадостный человек. При нашем знакомстве он рассказал, что в детстве проезжие цыгане променяли его какому-то барину на поросенка, поэтому он часто называл себя «чиганом».

Склонность Ремизова к шуткам и артистические способности доставляли собеседникам истинное удовольствие. Лукавая улыбка никогда не сходила с его лица, словно застряла в усах. Он был непрочь и поозоровать. Как-то сидим мы вдвоем за самоваром. Фофанов, любивший побаловаться чайком, заметил: «что-то чай сегодня крепок». Зная, что его друг — трезвенник, Ремизов вылил в самовар бутылку водки...



И. Т. Фофанов, народный сказитель КАССР. Бумага, карандаш.

К Никите Антоновичу часто обращались за советами девчата. С видом знахаря, спрятав улыбку, он шептал на ушко самые немисливые рецепты, как «присушить» парня.

Вечерами мы часто гуляли — Ремизов, Фофанов и я. Было очень интересно слушать степенную беседу этих замечательных стариков. Впрочем, сдержанность в их разговоре сохранялась недолго. Стоило им коснуться «родословной» отдельных героев русских былин, на которую их взгляды расходились, как манера разговора менялась: Ремизов старался мягко «укусить» своего противника, Фофанов же переходил на подчеркнуто спокойный тон, которым обычно разговаривал с несмышленишами... Без тени сомнения они приводили десятки фактов, «неопровержимо» доказывавших происхождение того или иного героя. Даже о своих близких родственниках невозможно было бы сказать больше... Я предпочитал занимать пассивную позицию в этих дискуссиях, не рискуя поддерживать чью-либо сторону.

С тех пор прошло много лет. Людей этих давно уже нет на свете, а в памяти они, как живые. И невозможно забыть ни их колоритного



внешнего облика, ни привычек, ни удивительных рассказов о далеком прошлом.

Ивана Терентьевича я вижу с кошельком за спиной и удочкой в руках. Слышу, как он посасывает трубку, а когда обращается ко мне, говорит: «ты, паря...» Навсегда останется в памяти его сердечное гостеприимство, непереносимое желание угостить гостя свежей рыбой. Не успеешь, бывало, с вещами разобраться, а он уже говорит: «Пойду шшучку обману... А тебе, паря, баинку затопили».

После исполнения былин Фофанов часто добавлял, что «новая свободная жизнь народила новое богатырство». Он очень гордился своим сыном, которому за военные заслуги присвоили звание Героя Советского Союза.

Ремизова я нарисовал в обществе его любимой собаки, с которой он был неразлучен и изображению которой радовался больше, чем собственному.

...Наконец пришел день отъезда, и я, простившись с полюбившимися мне людьми, решил поехать в соседнюю деревню, в которой, как мне рассказали, сохранились курные избы. Вела туда только лесная тропа, ни о каком транспорте не могло быть и речи. Мне предложили использовать древнейший способ передвижения — волокушу. Это две длинные оглобли с площадкой для груза, которые тащит лошадь. К волокуше была намертво привязана моя поклажа, а сам я должен был ехать верхом или идти пешком. Провожали меня с добрыми напутствиями, не взяв ни денег, ни расписки и никаких иных гарантий за лошадь, просили только оставить ее у правления колхоза и сказать, откуда она.

Тронувшись в путь, я очень скоро убедился в преимуществах дедовского способа передвижения по бездорожью. Мой транспортный агрегат плавно скользил по ухабам, корягам и не утонул в болоте. Казалось, для него не существовало препятствий.

Лес становился все гуще и тише. Постепенно чувство покоя начало вытесняться настороженностью. В голову полезли слышанные когда-то истории о медведях и волках. Вспомнилась недавняя встреча с одним стариком, не расстававшимся с толстой узловатой палкой, сплошь покрытой зарубками. Я поинтересовался, что они обозначают. «А это, парень, я столько медведей взял». Я насчитал тридцать шесть зарубок. «Тут, видать, и пестуны были?» — спросил я. — «Не, на пестуна у меня парень ходит. Ему уже четырнадцать скоро...» — «У вас, наверно, ружья хорошие?» — продолжал допытываться я. — «Не, ружьев у нас отродясь не было...» — «Так что вы, с голыми руками на медведя ходите?» — «Пошто с голыми?! На левую руку наматываешь тряпок по локоть, а в правую — нож. Ну... зверя, это значит, подымешь. Он, ясно, — на тебя, станет на задние лапы, пасть откроет. Тут не моргай: руку, что в тряпке, в глотку ему, да поглубже, а кинжалом — под лопатку... Вот и все...»

Подумав об этих смелых людях и о том, что провожали меня без всякой опаски, я подавил в себе неприятное чувство страха и подстегнул хворостиной лошадь...

Наконец я выехал на опушку леса. Вдали сверкнуло озеро. Откуда-то доносилось мычание коров. Настроение как-то сразу поднялось.

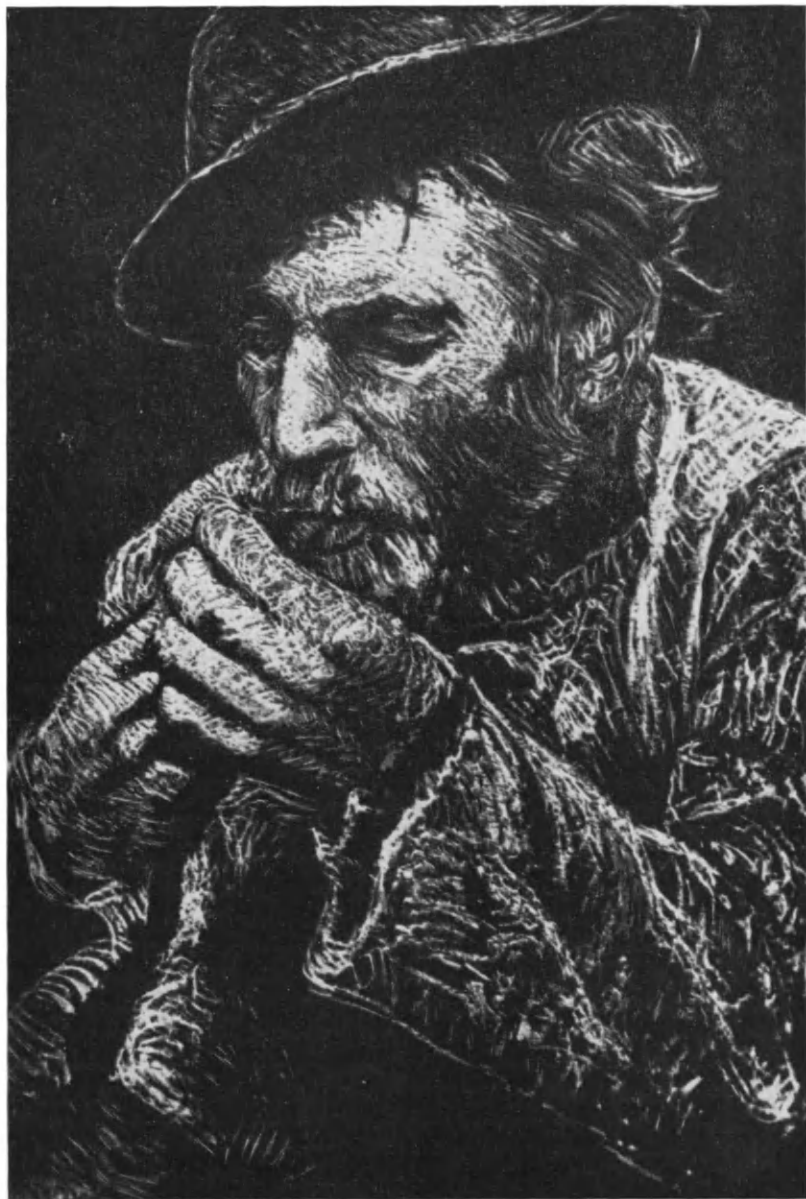
Деревня оказалась одной из самых древних в Карелии, здесь сохранились две курные избы. Правда, использовались они уже не под жилье, а в качестве склада для всякой рухляди. Тем не менее в них все еще чувствовался запах головешек, который исходил, очевидно, от потолка и стен, насквозь прокопченных дымом. Длинный сруб, покрытый общей двускатной крышей, был разделен поперечными стенами на жилое помещение и «дворище». Лицевую часть сруба занимали теплые комнаты, а под ними располагался «подклет». Деревянные трубы в черных избах были красиво обработаны. С заднего фасада к срубам был пристроен наклонный помост — «взвоз». Подобные постройки я видел впервые, хотя слышал о них давно.

...Много позже, в одну из поездок, я познакомился с еще одной интересной сказительницей-пудожанкой Анной Михайловной Пашковой, самой талантливой вопленицей Пудожья. Репертуар ее очень богат и разнообразен, и все же любимым жанром Пашковой были «плачи».

Плачи, или причитания, относятся к обрядовой поэзии. Человек верил, что мертвец наделен темной враждебной силой к живым, поэтому ему устраивали хорошие проводы на «тот свет». Позднее похоронный обряд стал принимать бытовой характер, превратившись в поэзию семейной скорби.

Пашкова — не профессиональная вопленица, она причитала только тогда, когда приходило личное горе. А его было немало. Несмотря на обеспеченное детство, ей приходилось много работать, удалось окончить всего три класса. Потом страшный пожар в деревне, оставивший ее бесприданницей. Вышла замуж и попала в большую семью. Опять работа с утра до ночи. «Потом пошли дети частые. Четырнадцать человек было выношено, а работы-то тяжелы — всяко приходилось. На целый день уйдешь, одних оставивши... Только троих я и вырастила: две дочки да сын. Дочки здоровы росли, а с сыном много горя приняла. Двух с половиной лет его разбило параличом, простыл. Тяжело и вспоминать. Двенадцать годов не ходил...» — рассказывает в своей автобиографии Пашкова. Болезнь и смерть сына — основная тема плачей этой многострадальной матери.

Прошло уже много лет, как Анна Михайловна скончалась, а в памяти моей ее приятное, доброе, без морщин лицо со светлыми внимательными глазами, спокойный, ласковый голос. Только разрез рта и рисунок губ говорили о твердости характера и воле.



Н. А. Ремизов, народный сказитель КАССР. Офорт.



От Пашковой записаны десятки былин, сказок, песен, плачей. Талантливая сказительница была принята в члены Союза писателей Карельской АССР.

...В памяти моей запечатлелась и встреча с пудожанином-сказителем, имя которого я, к сожалению, позабыл. От него я услышал одну поэтичную историю. Старик сопровождал меня в деревню, славившуюся своими мастерицами и «досюльной» вышивкой. Там я рассчитывал познакомиться с образцами народной вышивки и ткачества.

Выехали мы рано утром и по маленькой речушке спустились в озеро с большим количеством островков. В камышах наш карбас поднимал стайки уток, и они быстро таяли в утренней синеве. Вдруг камыши расступились — и на гладкой поверхности воды, еще дышавшей знобким туманом, мы увидели двух черных лебедей, задумчиво плывших в нашу сторону. Сколько грации было в каждом их движении! Мы замерли и восторженно смотрели на столь совершенное творение природы. Наконец, лебеди заметили нас и, не меняя своей горделивой осанки, медленно поплыли прочь...

Естественно, разговор пошел об этих удивительных птицах. «Подвезло тебе, — сказал мой спутник. — Черные-то лебеди у нас редко садятся, а белых пришлось на веку повидать». И он рассказал печальную и красивую историю, свидетелем которой якобы был.

«Однажды, много годов тому назад, вез я двух охотников из города пострелять уток на озере. И вот так же, как сегодня, увидали мы двух лебедей, только те белые были. Один из городских схватился за ружье. Говорю: не смей стрелять, нельзя святую птицу трогать! А он, куды там, не послушал моего совета, пальнул. Побежали птицы по воде, крыльями захлопали, да одна, что поменьше, вроде бы запнулась и осталась на месте. Другая поднялась в воздух — нет подруги. Три раза верталась, видать, подсобить хотела, да где там! Раскинула лебедица крылья и не двигается. А я подгребаю помаленьку и гляжу, что будет далее. Прокричал лебедь что-то, пролетел над нашими головами, аж ветром обдало. Глянул на нас желтыми глазами — они слезой подернуты, а сам будто стонет. И начал подыматься кругами вверх, все выше и выше.

Подобрали мы убитую птицу. А она, сердешная, такая чистая да красивая, словно девка в венчальном платье утопла.

Притихли мои охотнички.

И вдруг откуда-то с неба до нас песня дошла, тихая такая, ну прямо за сердце берет, дышать нечем. Ну сейчас лебедь самоубийством кончать будет, говорю. Глядим, прямо на нас белый ком падает. Ударился о воду, всех нас брызгами окатил. Лежит лебедь, крылья раскинул.

Который стрелял, не выдержал, закрыл лицо руками и заплакал. Потом схватил свое ружье и бросил за борт...



Меня сильно растревожил рассказ старика. В ушах звучала предсмертная песня лебедя. Да, сколько больших и гордых чувств таится в маленьком птичьем сердечке! Недаром в Карелии лебедя чтут и разделяют почти человеческими качествами.

Образ лебедя широко используется в народных песнях и играх. В некоторых деревнях существовала игра «лебедей кормить». Девчата садились в круг и брали в рот коротенькие спички. Парни должны были, не касаясь девичьих губ, губами выдернуть спички... За этой игрой всегда следили строгие мамыши. За слишком короткие спички девчат дома могли оттащить за волосы, а «неосторожного» парня — тут же сосватать...

Особенно часто образ лебедя присутствует в старинных свадебных песнях:

Отлетела лебедушка от стада лебединого,
Приставала лебедушка ко стаду серых гусей.
Не умела лебедушка по-гусиному клыкати,
Начали гуси ее щипати.
Завопилась лебедушка: «не щиплите, гуси серые,
Не ругай, свекрова-матушка.
Не сама я к вам приехала,
Занесло меня погодою да великою невзгодою...»

...Пудожский район запомнился и одним происшествием, которое едва не стоило мне жизни. И хотя тогда пришлось испытать много неприятных минут, но картины, которые я наблюдал, до сих пор живы в моей памяти.

Я должен был ехать в деревню, до которой было шесть километров открытым озером. Пока шли сборы, начало вечереть. Дул порывистый холодный ветер — осень давала о себе знать. Крестьяне стали меня уговаривать отложить поездку: ветер крепчает и может «опружить лодку». То ли юношеский задор, то ли спортивный азарт мешали мне прислушаться к голосу благоразумия.

Я заявил, что если со мной ехать бояться, то поеду один. В тот момент у меня еще не было окончательного решения, но тут кто-то хихикнул: «ты, паря,— городской и каши мало ел, чтобы грести самому». Надо было защитить честь горожан, и я уже не колебался. За плечами у меня был опыт соревнований по академической гребле, да и вообще грести я любил и всегда охотно садился за весла.

Я направился к карбасу, залез в него и попросил столкнуть меня в воду. Волна била в берег. Долго никто не подходил к лодке, уговаривая не валять дурака. Потом, видимо, решив, что от прибоя мне все равно не оторваться, двое подошли и с ухмылкой стали толкать лодку.



А. М. Пашкова, народная сказительница КАССР. Бумага, карандаш.

Едва она закачалась на воде и я сделал первый неуверенный гребок, как набежавшая волна подняла меня на гребень и выбросила на берег к большому удовольствию провожавших. Меня снова оттолкнули. На этот раз, ударившись о берег, я стремительно вылетел из лодки. Взрыв смеха был «наградой» за мою неловкость. Стоявшие на берегу участливо спрашивали о моем здоровье и, пряча улыбку, интересовались: «что так скоро вернулся?». Отступить было поздно, и я потребовал, чтобы меня оттолкнули еще раз. Изменив тактику — став на корму и работая веслом, как багром, — я с невероятным усилием оторвался от берега.

Смех и подначка утихли, и теперь уже доносились отдельные голоса с нотками беспокойства: «Верни-и-ись, пото-о-онешь...» Но я уже, как говорится, закусил удила.

Медленно, но упорно продвигаюсь вперед. Уже давно перестали долетать крики с берега, да и сам он, как размытая акварельная живопись, неясно просматривался на горизонте. Начинался дождь.

Пока я объезжал мыс, ветер как будто притих, но едва только лодка вышла из-под укрытия, он выскочил, как из засады, поднял на дыбы воду и со злым свистом набросился на меня. В миг мой карбас развернулся в обратную сторону, и его стало заливать водой...

Пришлось взять курс по ветру и грести, ориентируясь на какие-то далекие, ласково мигавшие огоньки.

Сумерки быстро сгущались. Ветер вдруг стих. По небу чернильными пятнами расплзались тучи, не спеша закрывая последние куски светлого неба. Воздух стал густым и тихим. Только змеинное шипение растрепанных волн еще нарушало тишину. Словно черная, густая вуаль накрыла горизонт, и один за другим стали исчезать так озорно подмигивавшие мне огоньки. Надвигалась гроза...

За огненной трещиной, располосовавшей небо, последовал такой удар грома, что я, оглушенный, перестал слышать даже визг уключин. Но это скоро прошло, и через какое-то время в мои уши, словно из них вытащили пробки, ворвались сразу свист ветра, удары волн, скрип весел и дробь первых крупных капель дождя.

Состояние героической приподнятости давно меня покинуло и всем существом завладел отвратительный липкий страх. Гнетущая усталость свинцом разлилась по телу, сковала руки и ноги. Я выдернул из уключин весла и равнодушно бросил их на дно лодки. Послышался всплеск.

Неуправляемая посудина стала вести себя, как осенний лист на ветру. Время от времени яркие вспышки молний с сухим треском раскалывали небо. Казалось, все буйные силы природы вырвались на волю и в диком восторге потешаются над моей беспомощностью.

Совершенно утратив ощущение реального мира, я не знал, сколько времени провел в этом аду. Было только одно желание — поскорей бы все кончилось...

После очередного взлета, проваливаясь в черную бездну, я почувствовал сильный удар по дну карбаса и стремглав вылетел за борт. «Наверно, попал на топляк», промелькнула вялая мысль.

Вдруг я плашмя ударился о что-то твердое. Молнией блеснула догадка: не берег ли это? Как в догорающей свечке, перед тем как погаснуть, вдруг ярко вспыхивает фитиль, так и у меня мгновенно ожила надежда. Но в следующий момент мое безвольное тело было смыто волной. Все же, успев глотнуть свежего воздуха, я уже всем своим существом желал нового «приземления». И когда меня вновь выбросило на берег, а это был действительно он, мои руки судорожно искали, за что бы ухватиться. Четыре раза, то лицом, то на спину, меня выкидывало на прибрежную гальку, и только в пятый раз, когда под ноги попался спасительный камень и я уперся в него ногой, волна, перекатившись, оставила наконец меня на суше...

Наутро меня нашли километрах в десяти от деревни, из которой я выехал. Добрые крестьяне были настолько рады моему спасению, что никто и не подумал упрекнуть меня за легкомыслие.



...Сквозь густые смешанные леса, мимо таинственных лесных озер, пробиваясь к синеющим далям, «Полярная стрела» мчится на север. Как в кино, мелькают станции и полустанки. Но вот сквозь толщу зеленого массива, сперва неуверенно, как бы маскируясь, начинает поблескивать серебристое море. То приближаясь, то убегая, словно борясь с сушей или дразня ее, оно вдруг опять исчезает. А через несколько минут, точно кто-то вдруг широко распахнет занавесь — и откроются великолепные просторы Белого моря. И хотя его давно уже ждешь, появляется оно все-таки внезапно. Увидишь его, и дух захватывает — «Ух, как здорово!» Я никогда не испытывал подобного чувства от встречи с Черным морем.

Белое море поражает ум и сердце. Его шум, врываясь в уши мощной увертюрой, заполняет все твоё существо, распирает грудь радостью. Вот оно, знаменитое Студеное море — колыбель русского морского флота, родина известных всему миру капитанов, отважных мореплавателей, рыбаков и охотников!

Поезд останавливается на станции Беломорск, в двух километрах от которой находится город Беломорск. Раньше он назывался Сорокой, по числу сорока островов, на которых расположился. Этот удивительный город имеет десятки мостов, перекинутых через бесчисленные рукава порожистого Выга, через ручьи и канавки.

У самого устья реки живописно раскинулись лесозавод и другие промышленные предприятия, а на взморье — судоверфь и крупный порт. Всюду, куда ни кинешь взгляд, видны моторные лодки, снующие в разных направлениях. Их используют и для работы и для отдыха.

Беломорск шутливо называют «северной Венецией». Я бы такое сравнение сделал без иронии. Слов нет, Венеция красива. Ее богатая архитектура, каменные мосты и мостики, сонно скользящие гондолы — все это очень колоритно и интересно для туриста. Наша «Венеция» еще не застроена отличными домами, и мосты у нее в основном деревянные, но огромное количество моторных лодок, устремляющихся по праздникам на отдых или рыбалку в открытое море, поморские песни, подхваченные здоровым чистым ветром, дымки новостроек на горизонте — разве это не прекрасно?! У этого края тяжелое прошлое, здоровое настоящее и замечательное будущее.

Из Беломорска можно попасть в старинные села — Нюхчу и Сумпосад. Древнее селение поморов Нюхча упоминалось еще в указах XVI века, по которым оно приписывалось к Соловецкому монастырю. Окруженное с трех сторон лесами и скалами, оно хранит предания старины, повествующие о знаменитом походе Петра I, о легендарной «Осударевой дороге».

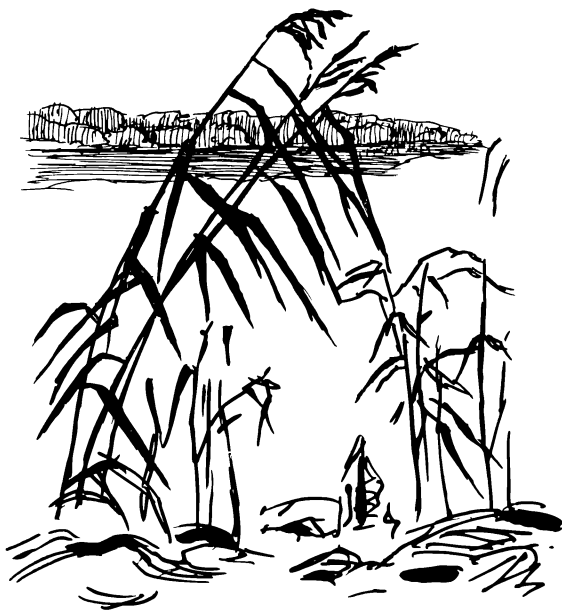
Вблизи Нюхчи сохранились остатки пристани, по камням которой когда-то сошел на берег царь Петр и от которых начинается знамени-

тый в истории «волоок» на По-
венец. Сто шестьдесят верст
через дикие леса и болота про-
рубали пять тысяч местных жи-
телей дорогу для кораблей.
Этот титанический труд был
завершен за десять дней и во-
шел в историю как беспример-
ный подвиг народа во славу
России. Поход Петра окончил-
ся взятием Шлиссельбургской
крепости и выходом русских
к Балтике.

Путешествуя по следам
«Осударевой дороги», кое-что
увидишь, кое-что выразишь
и много интересного услы-
шишь от местных жителей.
Когда тебя подводят к обык-
новенному бугорку, каких
встретишь десятки, и говорят,
что это — «государев клоч»
и что на нем государь, якобы,
завтракал, то хошь верь, хошь
не верь». Этому действитель-
но трудно поверить, но возра-
зить еще трудней...

Мне удалось побывать на
многих островах Белого моря,
и я всегда поражался их кра-
соте и разнообразию. Невда-
леке от Нюхчи есть острова
Горелка и Ропак. На первом
из них находится рыбоприем-
ный пункт. Приветливые хозяе-
ва непременно угостят чудес-
ной рыбацкой ухой, прежде
чем отпустят за «духовной пи-
щей», которой здесь неисчер-
паемый кладезь.

Представьте себе широкий
каменный пояс, которым об-
хвачен у воды любой остров.



Его нижняя часть скрыта под водой, верхняя нередко переходит в каменные поля или причудливые скалы. Штормовые ветры и морские волны за тысячелетия отшлифовали их поверхность. А как красивы они по цвету! Рыжевато-кирпичные, омываемые зеленовато-молочными волнами с белыми гребнями, они привлекают внимание своей живописностью. Кажется, что ты разглядываешь совершенное произведение искусства.

Под вечер теплые тона красок на переднем плане, удаляясь, переходят в красивые серо-синие цвета и, наконец, становятся густо-фиолетовыми. Четкие и мужественные силуэты деревьев — словно стража, представленная на светлом фоне небесного купола.

Есть на Белом море острова — настоящие оазисы с искусственными насаждениями и даже фруктовыми деревьями. Здесь можно увидеть давно покинутые домики монахов-отшельников, целые монастыри с церквями и каменными пристанями. Но подобная красота меня не прельщала. Предпочитая дикие, «неокультуренные» места, я иногда высаживался на пустынном острове, на который, казалось, не ступала нога человека. По берегам не в диковинку было встретить «камушки» размером с двухэтажный дом, бог весть как туда попавшие. Приближаешься к ним всегда с опаской. Так и кажется, что за ними спрятались в засаде доисторические охотники.

Направляясь в глубь острова, часто наталкиваешься на могучие сосны. Они, как эпические богатыри, прожившие не одну сотню лет, стоят, израненные вековой борьбой со стихией, но еще сильные и своей грудью прикрывают молодую поросль. Не прошла бесследно их жестокая борьба за жизнь. Многие из них лишены крон, а толстые ветви,

Рыбачьи будни. Офорт.



будто пораженные жестоким ревматизмом, выкручены самым немыслимым образом. И становится еще удивительней, когда видишь, что стоят они почти на голом камне и, словно мстя за трудную жизнь, своими разбухшими корнями разворачивают скалы, на которых родились и выросли.

Очень интересно море в часы отлива. Дно обнажается на километры. Появляются тысячи крупных и мелких камней самых разнообразных форм и расцветок. Большинство из них облеплены водорослями и очень живописны по цвету.

Пернатые хозяева этих мест, а их огромное количество, оживленно переговариваясь, снуют по глинистой грязи и собирают богатые дары моря. Все меняется до неузнаваемости, всюду жизнь.

...Не так давно мне удалось наблюдать в районе Касабланки отлив на берегах Атлантического океана. Я был потрясен унылыми просторами открывавшегося дна. На необозримое пространство раскинулась настоящая мертвая зона. Какие-то плоские ноздреватые камни, как близнецы похожие друг на друга, сливались в большие заплатки или терялись в далекой перспективе обмелевшего океана. Меня поразило отсутствие какой-либо живности. Не было не только птиц, но даже растительности. Тщетно искал я водоросли, ракушки или хоть что-нибудь, что напоминало бы родное Белое море. Не было ничего. Только странный утомляющий запах настойчиво лез в ноздри.

Без сожаления покинув океан, я с удовольствием погрузился в воспоминания о наших морских просторах, об их красоте, по-настоящему еще не воспетой...

Как-то работники Беломорской биологической станции пригласили меня приехать к ним на мыс Картеж. У железнодорожной станции Чупа я сел на небольшое судно прибрежного плавания и пустился в путь. Был ясный спокойный вечер, и я, стоя на палубе, залюбовался бездонной прозрачностью зеленовато-синего неба. Величавая тишина ночи опустилась на воду и, казалось, усыпила все живое. И вдруг из-за темного горизонта появился край огромной огненно-красной луны, которая через несколько минут ярким шаром поплыла над морем. Такой чистоты цвета и звучности она достигает только в этих широтах. Не успев привыкнуть к дивной «лунной сонате», я увидел, что выше ее полыхает развернутая лента северного сияния. Это казалось такой неправдоподобной фантазией, что в первые минуты я потерял дар речи и способность двигаться. Только из-за одного этого зрелища есть смысл ехать на Север... Но меня ждали сюрпризы и на мысе Картеж, куда мы добрались часа за четыре.

Мыс и бухта оказались самым красивым местом этой части Белого моря. Метрах в пятидесяти от мыса раскинулось Кривое озеро. Оно славится своей ряпушкой и вкусной водой, которой запасаются все

проходящие мимо корабли. Его берега, как и берега Белого моря, круты, скалисты и местами совершенно не доступны с воды.

В осенне-зимнюю непогоду свинцовая беломорская вода лениво, но мощно обрушивается на прибрежные камни, одевая их в ледяной панцирь. Белыми лебедями с лебедями плавают оторванные от берегового припоя льдинки. Тяжелеет в такие дни небо и, не в силах удержаться на высоте, сползает на воду, сливаясь с седыми волнами угрюмого моря.

А когда «падет» шторм, поистине бывает страшно. Мне довелось испытать его и в открытом море и наблюдать с берега. Откровенно говоря, сохранить мужество и наблюдательность мне больше удавалось на берегу. Поэтому начинающим естествоиспытателям я бы рекомендовал ту же позицию...

Представьте себе грандиозную панораму битвы. Сражаются три могучих противника — вода, земля и небо. Беснующееся море давно смыло линию горизонта и выплеснуло неистовые волны за облака. Возмутилось этой дерзостью небо, хлестнуло огненной плетью молний. Не выдержала вода — сплошной стеной рухнула вниз обратно. И, как бы признав себя в этой схватке равными, противники вдруг объединились и с яростью бросились крушить извечного врага — землю. Призвав на помощь ураганный ветер, они кинулись на каменную грудь берегов.

Вздروгнули многотонные глыбы, но только отдельные из них нехотя покинули привычные места. Ударил молния. Ее острие вонзилось в стоявшее отдельно огромное дерево и раскололо его, словно лучину. Где-то по соседству рухнул еще один седой гигант, уже давно отшлифованный ветрами и выбеленный временем. Рассыпавшись на куски, он тут же в качестве трофея был смыт волнами.

Но вот баталия начала стихать. Оставшись «при своих», противники успокоились. Посветлело небо, улетел ветер, а море вновь стало виновато ластиться к берегам... И снова восторжествовало неповторимое очарование света и тишины.

Волнения улеглись, и голова моя наполнилась мирными мыслями. Почему, например, наше море названо Белым? То ли потому, что вода его действительно часто бывает молочно-зеленоватого цвета, то ли оттого, что оно чуть не восемь месяцев в году покрыто льдом, а может, и потому, что у нас бывают волшебные белые ночи, когда солнце светит и в полдень и в полночь, а море, как чаша с расплавленным жемчугом, волнуется своей таинственностью? Как бы там ни было, но вряд ли кто-нибудь станет оспаривать это название.

Камни... Они у нас всюду, ими выложена дорога в историю. Но самые замечательные из них те, на которых сохранились рисунки первобытных художников. Высеченные на плоских скалах изображения про-



Поморы. Офорт.

жили несколько тысяч лет. Время только частично стерло их, оставив для нас очертания человеческих фигур — пеших, бегущих на лыжах, едущих в лодках, четкие силуэты птиц, зверей, рыб и сцены охоты. Рассматривая их, неизменно испытываешь волнующее чувство общения с древним человеком сквозь толщу веков.

На берегах Белого моря есть и другие камни — памятники истории. Около древнего поморского села Юково сохранились остатки старой пристани, к которой, якобы, тоже приставали корабли Петра. Оригинальный характер слоеного сооружения — ряд бревен и ряд камня — производит сильное впечатление. Разбуженная фантазия уже рисует, как длинноногий Петр, стуча тростью, бродил по этим камням. Сейчас огромные белые стволы постройки торчат, словно обглоданные кости доисторического чудовища, и зовут ученых заняться ими, как и расположенными поблизости подземными складами, которые народная молва тоже связывает с петровскими временами.

Рыбачье поселение Юково интересно не только памятниками неразгаданной истории, но и своим живописнейшим расположением: оно раскинулось на берегу моря у подножия гор, с которых открывается великолепная панорама морских просторов с далекими островами.



Девушка из Нюхчи. Офорт.

Гладкое каменное плато, круто уходящее в воду, используется как естественная пристань.

Во многих местах лес с гор опускается прямо к морю. Огромные валуны, украшенные мхами и лишайниками, словно искусно вышитыми узорами, придают местному пейзажу особую прелесть.

К числу знаменитых поморских сел относится древнейшее из них — Сумский Посад, основанный много столетий назад для оберегания русской земли от набегов «заморских немцев», как называли тогда всех иноземных захватчиков. И сейчас еще на левом берегу реки Сумы можно найти остатки острога, или крепости, где сумляне не раз отбивались от захватчиков, привлекаемых богатствами Поморья.

Сумляне — отличные мореплаватели. Они в числе первых были на Новой Земле и Шпицбергене, на парусниках по морям и океанам проходили в черноморские порты России, приплывали в заморские страны. Сумпосад славится потомственными мореходами — капитанами и лоцманами. Здесь родился и знаменитый ледовый капитан Владимир Иванович Воронин, который первый в истории мореплавания за одну навигацию прошел на ледоколе «Сибиряков» Великим северным путем из Белого моря в Берингов пролив.

Нельзя без волнения бродить по берегам так много выдавшей реки Сумы. По обе стороны ее раскиданы старые амбары и амбарчики. Большинство из них одряхлели и, нависая над зеркалом воды,

с тоскою рассматривают свои замшелые стены. Моложе всех выглядит самый старый амбар, стоящий на левом берегу Сумы уже 215 лет! Этот великолепный дом, сооруженный из отборного леса, с коваными железными деталями на дверях, имеет вырезанную надпись: «1757 года м-ца апреля построен сей амбар». Он является памятником архитектуры, охраняется государством и, наверно, просуществует еще столько же, если не больше.

В белую ночь силуэты старых домов и амбаров стоят, как застывшие часовые, в напряженном ожидании чего-то. А может быть, они прислушиваются к ходу истории и силятся вспомнить что-то давно пережитое? Даже река, в гордой задумчивости катя свои чистые воды, боится нарушить общую торжественную тишину. Сколько поколений замечательных людей вскормила она своей грудью и вынесла в открытое море, в жизнь! И как же здорово, когда в момент такого обостренного ощущения жизни вдруг выплеснется откуда-то песня.

Поморы очень талантливы. До революции неграмотные и угнетенные, они в песнях выплакивали свое горе. Особенно много бытовало похоронных «плачей». Среди них первое место занимали плачи по мужу как кормильцу. Но люди не только плакали, они слагали песни и сказки, которые были острым протестом против существовавшего тогда строя.

Широко известны имена сказителей-поморов Феклы Быковой из Беломорска, Федора Свинына из Сумпосада, Матвея Коргуева из Керети. От этих людей были записаны целые тома песен, причитаний и сказок.

Долгие годы длилась моя дружба с Феклой Ивановной Быковой. Познакомившись с ней в Петрозаводске, в Институте культуры, я в дальнейшем не упускал возможности заехать к ней в Беломорск, погостить или просто на «бесёду». Фекла Ивановна была радушной хозяйкой и великолепным собеседником. Глядя на ее веселое и улыбочное лицо, никогда бы не сказал, что она — вопленица, что от нее записано много плачей.

Может ли кого-нибудь оставить равнодушным плач Быковой по мужу, в котором с огромной выразительностью и остротой передано горе семьи, потерявшей кормильца:

«Куда ты меня бросил да куда оставил
С многима с малыма с сердечныма детушками
В семейном да артельном домичке?
Не построил ты мне витого теплого гнездышка,
Не оставил ты мне годовых хлебов припасамы,
Только ты оставил с моима малыма сердечныма
детушками,
Уж не одетыма да не обутыма.
На кого я теперь кладу крепку надеюшку?»

Тяжелая доля рыбаков-поморов, не имевших орудий лова и вынужденных работать на кабальных условиях у «хозяина», нелегкая личная жизнь Феклы Ивановны, перемены, происшедшие в нашем крае за последние полвека,— все это как в зеркале отразилось в ее творчестве.

Много раз я работал над портретами этой сказительницы, но особенно запомнил свой приезд в 1968 году. На лице ее глубже обозначились складки, глаза стали больше и внимательней задерживаться на собеседнике, и улыбалась она только ртом. Бремя лет начало одолевает ее. Но когда она сделала знакомый мне жест — быстро провела рукой по носу снизу вверх — грустное впечатление мигом развеялось.

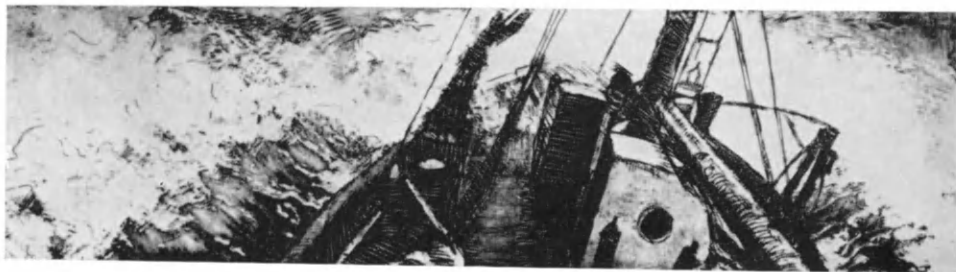
Мне посчастливилось встречаться и со знаменитым сказочником — Матвеем Михайловичем Коргуевым. Репертуар его поистине неисчерпаем. Его сказки, изданные перед войной, составили два толстых тома. Было очень интересно слушать рассказы Коргуева о его детстве, юности, о начавшейся с девятилетнего возраста трудовой жизни. Кем он только не работал — и подпаском, и на заготовке дров, и поваром. «Только при Советской власти получил кредит, удалось справиться снасти, и жить стал справно».

В моей памяти образ этого удивительного человека сохранился ярко и выпукло, хотя со времени последней нашей встречи прошло около тридцати лет. Рисовал я его в разные годы и даже написал портрет маслом. Работать было трудно. Живой и темпераментный, он быстро уставал, меркли глаза, лицо становилось значительно старше.

У Коргуева была на редкость добрая улыбка. Веселые морщинки разбегались до самых ушей. Высокий белый лоб, выпуклые щеки, широкий нос с крупными, четко очерченными ноздрями, густая черная борода со струйками седины — таким мне видится лицо Коргуева.

Я встречался с Матвеем Михайловичем в разных условиях, но особенно любил бывать на его родине, в Керети. Там он чувствовал себя

Вдали от берегов. Офорт.





Рыбак Долинин. Бумага, акварель.



Ф. И. Быкова,
народная сказитель-
ница КАССР.
Офорт.

проще, уверенней и был самым собой. Я еще и еще раз убеждался, как важно даже талантливому человеку ощущать близость среды, из которой он вышел. Без этого немислимо истинное творчество...

Рассказывая сказки, Коргуев никогда не прибегал к жестикуляции. Бесстрастное выражение его лица как бы подчеркивало значительность их содержания. Речь его лилась спокойно и просто. Я поражаюсь редкостной памяти этого не знакомого с грамотой человека. Однажды он рассказывал мне сказки целую осеннюю ночь!

Был у Матвея Михайловича Коргуева друг — тоже известный сказочник Федор Николаевич Свиньин, живший в Сумпосаде. Родился и вырос он на берегу Белого моря. В детские годы постоянно слышал рассказы рыбаков о штормах, о мужественных поморах, смело смотревших смерти в глаза, о море, то ласковом и щедром, то суровом и беспощадном. Эти рассказы будили фантазию мальчика, и он уже видел себя рядом с полярными богатырями, штурмовавшими таинственное море, мысленно уносился с ними в неведомые просторы, к берегам Новой Земли.

В длинные зимние вечера рыбаки любили собираться в избе Свиньиных и слушать чудесные сказки, былины, легенды, которых отец Федора — Николай Свиньин — знал великое множество.

С семи лет отдали Федора в зуйки. Дальше жизнь его была обычной для бедняка-помора, полной лишений, опасности, тяжелого труда. Только после Октябрьской революции Федор Николаевич обзавелся хозяйством, он первым в селе вступил в колхоз, работал бригадиром промысловой бригады.

Унаследовав репертуар отца и матери, Федор Николаевич Свиньин обогатил его сказками, слышанными на рыбных и зверобойных промыслах, и собственными сочинениями. Он много читал, что не могло не сказаться на его творчестве: он стал «осовременивать» свои сказки. Помню, герои его летали на «ковре-самолете», разговаривали «по телефону», носили «макинтош».

...В тридцати километрах от Сумпосада находится село Колежда. Добирался я туда на грузовой машине. Поднявшись на гору недалеко от села, залюбовался чарующей природой окрестностей. День был облачный. Плывшие по небу «айсберги», закрывая солнце, бросали на землю тени самых причудливых форм, окрашивавшие ее в густые, сочные тона, которые ближе к горизонту становились откровенно синими.

Как всегда, вначале отправляешься в сельсовет, чтобы представиться и получить рекомендацию на квартиру. Как во всякой деревне, тебя облают собаки, сбежавшиеся со всех дворов, и, как всегда и везде, из окон домов рассмотрят тебя любопытные глаза детей да престарелых нянек. Реже увидишь старичков — они обычно чем-нибудь заняты по хозяйству.



М. М. Коргуев, народный сказитель КАСР. Бумага, акварель.

На другой день я знакомился с расположением села и его обитателями, на третий — пошел разыскивать известных всей республике рыбаков Петра Михайловича Кононова и Григория Ивановича Терентьева. Эти замечательные старики, награжденные за трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны орденами Ленина, были очень интересны и своим внутренним миром и внешним обликом. Оба они родились в Колежме. С детского возраста ходили в море зуйками. Потом на парусе артелью в двенадцать посудин рыбачили у Груманта. Падёт шторм — кидали якоря и становились на колени богу молиться. «Стихнет шторм — посчитаешь лодки, а их осталось семь али восемь. Помолишься за упокой душ погибших и плывешь дальше. Якоря были деревянные, ловили на ярус¹ длиной в пять километров. Зуйками ходили — налаживали снасти, а выросли — стали рыбачить, тянули ярус голыми руками. Ладони, бывало, до того калечили, что двери в хату открывали зубами...»

За ум, смекалку и опыт Григория Ивановича Терентьева (он был живым справочником по вопросам рыбодобычи) односельчане прозвали «кудесником», и кличка эта так к нему пристала, что он считал ее своим вторым именем.

Терентьев часто и уважительно расчесывал свою широкую бороду, испытывая при этом явное удовольствие. На его обветренном морскими ветрами лице выделялись глаза, такие светлые, что, казалось, они вобрали в себя голубизну моря.

Подвижный и темпераментный, Григорий Иванович не выносил, когда его опережали в ловле рыбы. И хотя это случалось крайне редко, в такие дни он злился и ни с кем не разговаривал. Только очередная удача приводила его в нормальное состояние, возвращала веселость, общительность.

Мне рассказывали, что в дни ожидания массового лова старый рыбак почти не спал. Его постоянно видели на берегу реки, он что-то высматривал. По каким-то только ему известным приметам он определял важный момент начала лова, и по его команде армада колхозных лодок уверенно устремлялась в море.

Принимая почет и уважение как должное, Терентьев охотно рассказывал о себе и даже не прочь был похвастать, а ему было чем удивить собеседника.

Как сейчас вижу этого невысокого, с крепко сбитой фигурой старика, шагавшего походкой уверенного в себе человека.

Петр Николаевич Кононов во многих отношениях был противоположностью Терентьеву. Высокого роста, сдержанный в движениях, он говорил неторопливо, степенно, как бы обдумывая каждое слово, но

¹ Снасть, похожая на перемет.

юмор понимал и ценил. Когда слышал удачную шутку, его красивое лицо, обрамленное окладистой бородой, озарялось такой искренней улыбкой, что, казалось, он, стряхнув с плеч тяжесть прожитых лет, снова чувствует себя веселым юношей. Но вскоре, словно спохватившись, Петр Николаевич запускал правую руку в бороду, и лицо его приобретало прежнее солидное выражение.

Кононов никогда не подчеркивал своих заслуг и не акцентировал внимания на трудностях: «Да, в детстве было тяжело. Да, в Великую Отечественную, кроме них с Терентьевым, не было в деревне рыбаков, но план перевыполняли. Да, были за это награждены правительством орденами...»

В Колежме я прожил почти две недели. Выпал первый снег, и по-новому стали смотреться пейзажи. Заканчивали сезон рыбаки, поднимали на вешала невода для просушки, а карбасы и доры вытаскивали на берег и опрокидывали вверх дном.

...Годы идут, старые впечатления вытесняются новыми. Но, как прежде, так и теперь, самобытное и поэтическое рыбацкое село Колежма вспоминается прежде всего как место, где прожили жизнь два замечательных трудолюбца — Григорий Иванович Терентьев и Петр Николаевич Кононов.

Много раз я бывал на Белом море и не без основания думал, что знаю все его достопримечательности. Я посетил почти все рыболовецкие поселки, познакомился с поморами разных поколений, наблюдал их в труде и домашней обстановке. Мне казалось, что суровая и самобытная природа Поморья, оригинальные типажи и характеры местных жителей — это все, что может здесь привлечь художника. Но я ошибался.

Недалеко от Кеми, в западной части Белого моря, находится большая группа островов под общим названием «Кузова», что в переводе с саамского языка означает «еловые острова». На некоторых из них сохранились древнейшие памятники культуры — лабиринты, сейды, идолы. Карельский государственный краеведческий музей давно интересуется памятниками древности Беломорья. Мне предложили принять участие в одной из экспедиций, возглавляемой замечательным краеведом, большим энтузиастом изучения памятников древности на островах Белого моря Иваном Михайловичем Мулло. Я с большим удовольствием принял приглашение.

Путь по железной дороге был недолгим, и, пересев в Кеми на морской буксир, мы взяли курс на «Кузова». Часа через два вдали показались острова. Они были необычной формы — большинство из них представляло собой каменные громады. Некоторые, подрумяненные лучами заходящего солнца, напоминали буханки только что испеченного хлеба.



Рыбачок. Офорт.





У самого Белого моря. Офорт.



Сын рыбака. Бумага, акварель.



Беломорский рыбак. Автолитография.

После сложного маневрирования наш буксир осторожно подошел к одному из островов и бросили якорь. Был ясный тихий вечер, и мы, пересев на шлюпку, благополучно пристали к Большому Немецкому Кузову. Основная часть нашей группы разместилась в пустующей рыбацкой избушке, а мы с Иваном Михайловичем разбили двухместную брезентовую палатку у самого залива.

Жизнь на острове началась. Запылал костер, был приготовлен первый ужин, миновала первая ночь. Погода нам благоприятствовала, и на следующее утро мы совершили восхождение на вершину нашего острова, поднятую на 145 метров над уровнем моря. Путь оказался трудным, но, достигнув цели, мы были вознаграждены открывшейся панорамой моря.

Внизу под нами на довольно большой площади, поднимающейся уступами вверх, были разбросаны разные по величине и форме углова-

тые валуны. Некоторые из них напоминали человеческую фигуру или носовую часть карбаса. На валунах была насыпана мелкая отполированная водой галька, на которой покоились крупные камни. Эти валуны и есть так называемые «сейды». Относительно происхождения их в Кемии бытует любопытная легенда. В древние времена шведы (их называли тогда «немцами», как и всех завоевателей) решили завладеть Соловками. Но, добравшись до самого высокого острова, были наказаны богом и превращены в камни. С тех пор остров стал называться Большим Немецким.

Сейды поросли черным чешуйчатым лишайником и мхом разных оттенков. Эти вестники истории, нашедшие себе место на самом высоком из островов и словно вросшие в него, действительно напоминали легенду об окаменелых людях на поле брани. Прикасаясь к их шершавой поверхности руками, как бы предметно осязаешь историю и невольно испытываешь почтенье и благоговейный трепет.

К сожалению, среди туристов находятся люди, которые «удовольствия» ради скатывают древние камни вниз, к морю. И летят эти еще не разгаданные страницы истории по крутобедрым скалам, разбиваются на мелкие куски или, погружаясь на дно морское, уносят с собой тайну своего рождения, разгадку своего бытия.

Делая многочисленные зарисовки «сейдов», я с интересом слушал своего шефа, знакомого меня с различными версиями наших и зарубежных ученых о происхождении таинственных памятников. Мнения исследователей противоречивы, даже возраст этих камней недостаточно ясен. Несомненно одно: «сейды» — священные камни, почитавшиеся в старину саами — потомками древнего населения Скандинавии и Кольского полуострова.

Познакомившись с ближайшими островами, я убедился, что они интересны не только памятниками давно ушедшей культуры. Многие из них удивительно своеобразны. Огромные каменные монолиты, словно выжатые неведомой силой со дна морского, кажутся угрюмыми, неприступными. Только на некоторых из них можно увидеть цепкие лишайники. Эти удивительные растения будто вгрызаются в камень. Выделяя своими корешками кислоту, они разрушают самую крепкую породу и оставляют на ней извилистые углубления, напоминающие древние иероглифы. И только кое-где в трещинах можно увидеть пугливо выглядывающую робкую травку.

Встречаются острова, совершенно лишенные растительности. Зато есть и такие, где на низких берегах, с трех сторон окруженных высокими скалами, уютно устроились небольшие еловые рощицы, издали напоминающие перевернутую кверху зубьями деревянную борону.

На нескольких островах я натолкнулся на целые кладбища погибшего перестойного или горелого леса. Особенно сильное впечатление

производят крупные, отдельно стоящие деревья. Их могучие стволы, добела отшлифованные временем и непогодой, торчат из замшелой земли, как огромные кости. Печальное, но своеобразное зрелище представляют мертвые рощи. Большая часть деревьев лишена коры. Голые ветви, словно бессильные руки, свисают до самой земли, и только на некоторых, как рваный черный саван, местами сохранилась кора.

В дни непогоды такой лес выглядит зловеще: разбухшие штормовым ветром огромные деревья-мертвецы оживают, и их корявые ветви, словно щупальца осьминога, угрожают путнику на каждом шагу. Кажется, что ты попал в таинственный мир доисторических чудовищ.

Как-то я наткнулся на целый хоровод старых, давно высохших елей, покрытых, как коростой, грибковым лишайником. Они стояли, тесно

«Сейды». Офорт.



переплетаясь сучьями. Прожив одной семьей всю жизнь, они даже после гибели продолжали поддерживать друг друга.

...Однажды ночью мы были разбужены сильными порывами ветра и шумом дождя. Палатку трясло. Одна из растяжек лопнула, и наше убежище, осев на одну сторону, грозило рухнуть. Под днищем палатки хлюпала вода. Устранять аварию в такую погоду не было возможности, и мы только глубже зарылись в свои мешки. Когда начало заниматься хмурое утро, я, движимый желанием понаблюдать рассерженную стихию, выбрался наружу. От натиска морского ветра глухо и тревожно стонал лес. Тяжелые тучи анилиновыми пятнами расползались по небу и угрожающе надвигались друг на друга. Потом, словно объединившись, они своей могучей грудью навалились на горы. Гордые вершины Кузовов величественно двигались им навстречу и легко пробивались сквозь небесные громады. Меня охватило неодолимое желание подняться на вершину, и я не медля двинулся в путь.

Миновав огромные замшелые валуны, живописная красота которых в этот момент казалась зловещей, я достиг наконец первой площадки — одна треть пути была пройдена. Шквальный ветер силился сбросить меня вниз. В поисках укрытия я очутился перед глубокой трещиной.

На Кузовках. Офорт.





По берегам Беломорья. Офорт.

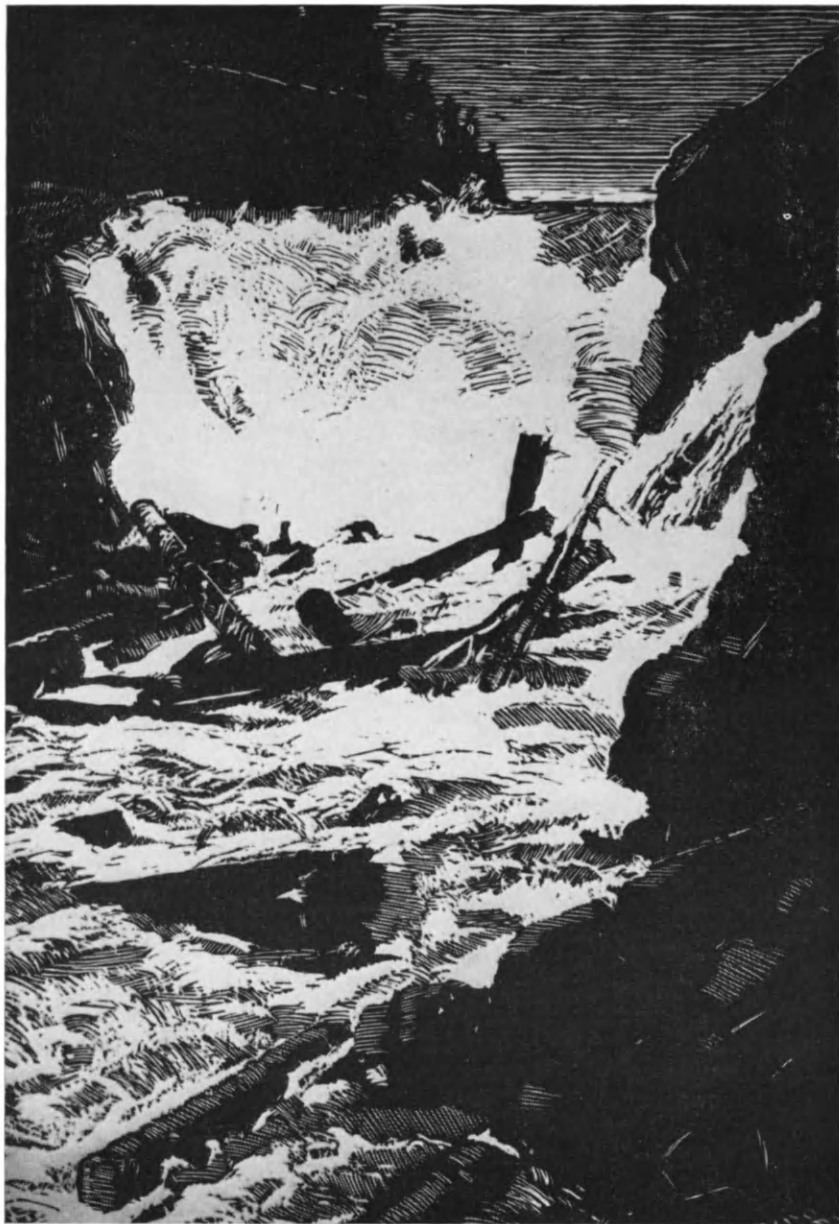
Казалось, она уходит к центру земли. Стало не по себе, захотелось скорее вернуться обратно, но любопытство все же одержало верх.

Остановившись, чтобы перевести дух, я оглянулся. Внизу у берегов бесновалось море. Оскаленный темными камнями берег отражал натиск волн, которые со злобой откатывались назад для нового разбега и через несколько секунд тяжелые, как из металла, вновь обрушивались на выступы скал и пеной расползались по прибрежным камням.

С большим напряжением сил и воли продолжаю путь к вершине. Наконец она достигнута. Не без робости оглядываюсь по сторонам. Кругом все воеет и движется. Побледневшее от ярости море в бешенстве бросает седые валы на целую рать островов, выдвинутых далеко вперед. Они принимают его первые удары, защищая господствующую высоту.

Огромная туча, словно неотвратимое бедствие, надвигается на меня с севера. Вот она поглотила часть вершины. Исчезли жидкие кустарники. Затряслись, как в лихорадке, тонкоствольные рябинки. А она, немолчаливая, своей тяжелой поступью грозит уничтожить все живое. Кажется, даже земля дрожит от страха, и только «сейды», так много повидавшие за свою жизнь, в каком-то подчеркнутом спокойствии хладнокровно взирают на окружающее. Поверив в их силу, я бросился к ним и, прислонившись спиной к холодной поверхности камня, почувствовал себя в безопасности.

Вдруг стало трудно дышать, как в парной бане, только пар был холодный и очень плотный. Наступила жуткая тишина, даже только что бушевавший ветер не мог пробиться через этот огромный ком серой ваты.



Сплав на Киваче. Линогравюра.

К счастью, такое состояние продолжалось недолго. Из серой тьмы, как из небытия, стали проявляться почерневшие деревья и поблескивавшие небольшими лужицами верхушки «сейдов». Ветер, вновь осмелев, бросился со свистом подгонять сумрачную гостью.

Налюбовавшись разгулом буйных сил природы, я благополучно спустился из поднебесья к своим, на землю. Внизу было тише, горел костер и вкусно пахло кашей.

Какая притягательная сила заключена в костре! Огонь — это не только тепло, пища и свет, а нечто более значительное, что особенно остро чувствуешь в часы сумерек или в ненастную погоду. Наблюдая, как плавятся в костре угли, ты поведаешь ему самые заветные мечты и думы, а он обласкает и успокоит тебя.

Поездка на «Кузова» надолго останется в моей памяти. Я сделал там несколько десятков зарисовок и акварелей. Расставаясь с этими местами, я знал, что непременно вернусь сюда снова, как возвращался десятки раз в свои излюбленные места — в Заонежье, Пудож, на водопад Кивач.

Водопад Кивач — одно из чудес Карелии. Это истинная поэзия нашего края, поэзия суровой и своеобразной природы Севера.

Я часами просиживал у Кивача, но никогда не испытывал скуки, никогда не казался он мне однообразным. В этом водопаде заключена какая-то таинственная сила, способная успокоить человека, вернуть ему внутреннее равновесие. Как бы ни был ты возбужден, раздосадован или огорчен, просидишь час-другой у водопада — и начинаешь понимать, как мелочны твои переживания, и сдается, что все тебе под силу, что нет ничего, с чем бы ты не справился, чего бы не одолел.

В белую июньскую ночь, обобщенный каким-то удивительным матовым светом, без резкой светотени, Кивач кажется могучим живым существом, прикованным цепью к каменному руслу.

Однажды я спустился по крутизне правого берега к самому подножию падуна и, утвердившись на небольшой площадке, поднял голову кверху. От ужаса кровь застыла в моих жилах. Показалось, что грозный поток прямо с неба устремляется на мою голову... Я поспешно закрыл глаза, ноги вдруг потеряли твердость. Собравшись духом, я с неимоверным трудом, как из преисподней, выкарабкался наверх.

Этот случай заставил меня еще больше оценить мужественный труд сплавщиков, которые одинаково спокойно работали и на вершине падуна и у его основания. Много раз с волнением наблюдал я, как они высвобождают застрявшие бревна, и мне всегда хотелось крикнуть:



Сплавщики на Киваче. Офорт.

«Эй, друзья, осторожней!» А они, словно не замечая грозящей им опасности, ловко пользуясь багром, шутя проделывали головокружные трюки.

Как-то я был свидетелем редкого зрелища. Образовавшийся метров на сорок ниже Кивача залом быстро увеличивался и, поднимаясь по течению, вскоре закрыл весь водопад. Воды не стало видно, она была погребена под огромным количеством древесины.

Я не мог отказать себе в удовольствии испытать «острое ощущение» и стал перебираться через груды ошестинившегося леса на другой берег. Вдруг до меня донеслись «неласковые» слова сплавщиков, устанавливавших где-то внизу лебедку. Мне предлагали немедленно убраться на твердую землю. Я, хоть и подчинился этому требованию, но подумал, что зря меня согноли: такое количество леса не разобрать и за неделю. Однако через какой-нибудь час, после установки лебедки, были найдены и вытащены несколько бревен, «виновных» в задержке сплава, и вся огромная масса дрогнула, заскрежетала и тихонько поползла в воду. А сплавщики, помогая друг другу, поспешно выбрались на крутой скалистый берег. Я смотрел на людей этой нелегкой профессии и думал, что их мужество и ловкость подстать силе и мощи красавца-водопада.

...Разбиваемый вдребезги поток миллиардами брызг скатывается вниз, часть из них, распыленная в воздухе, мельчайшими жемчужинами оседает на одежде. Дивная красота водопада сильно волнует и рож-

дает желание творить. Хочется стать поэтом и даже начинаешь что-то слагать... Но тут, словно танк, подминающий твои жиденькие рифмы, вторгается фраза:

«Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми...»

Точная кисть Державина несколькими гениальными мазками оттеснила мои литературные потуги, и я еще раз с благоговением шепчу эти неповторимые строки...

В разное время года, в зависимости от ветра и погоды, Кивач не только меняет окраску, но и в шуме его появляются новые оттенки.

Летом, например, при малой воде, миролюбиво урча, он спокойно ведет беседу, про что-то рассказывает, чему-то терпеливо поучает, стараясь открыть людям глубокую мудрость жизни. И как жаль, что не дано человеку понимать язык природы!

Совсем другим становится падун весной. Отдохнув после зимней спячки, напивавшись соками земли и неба, полнокровный, грозный, он нетерпеливо сбрасывает свои воды с десятиметровой высоты. И уже не нежный шелест лирических стихотворений, а эпический слог рун Калевалы громыкает в воздухе. А иногда, долго слушая рев и грохот необузданной стихии, замечаешь, как эти звуки начинают оформляться в слаженную симфонию Бетховена или Бородина... Они проникают в сердце, огнем бегут по жилам, наполняя все твоё существо новыми силами, страстными желаниями. В такие минуты человек готов на подвиг, на самопожертвование.

За долгие годы работы в Карелии я встречался со многими видными общественными и политическими деятелями, работниками культуры и искусства, писателями и учеными. Некоторые из них запечатлены в моих работах. Были среди них люди выдающиеся, люди богатой и интересной судьбы. Общение с ними дало мне очень много как человеку и художнику. Особенно хочется это сказать об Отто Вильгельмовиче Куусинене, с которым я впервые встретился, работая над иллюстрациями к карело-финскому народному эпосу «Калевала». А произошло это так.

В 1947 году был объявлен Всесоюзный конкурс на создание новых иллюстраций к карело-финскому эпосу «Калевала». Идея конкурса принадлежала Отто Вильгельмовичу Куусинену, в то время председателю Президиума Верховного Совета республики. Куусинен был знатоком устного народного творчества, национальной литературы и искусства.

Я решил принять участие в конкурсе, хотя прежде никогда не иллюстрировал книг, и к указанному сроку послал по почте серию своих работ под девизом «Куллерво». Итоги соревнования оказались для меня благоприятными: я получил вторую премию (первая присуждена не была). Вместе с М. Мечевым, удостоенным третьей премии, нас пригласил к себе Отто Вильгельмович Куусинен. В его кабинете состоялось наше знакомство и первый разговор. До этой встречи Куусинен был известен мне лишь как крупный политический деятель. Я знал, что в 1917 году Отто Вильгельмович встречался с Лениным и что Владимир Ильич считал его «знающим и думающим человеком».

Когда мы шли первый раз к Куусинену, я, честно говоря, не надеялся услышать что-либо новое о «Калевале»: текст произведения был настолько изучен, что, казалось, никакой знаток ничего не добавит. Но после беседы я почувствовал, что открыл для себя новую «Калевалу». Во многом пришлось переосмыслить ее содержание.

Отто Вильгельмович поставил конкретную задачу — создать такие же убедительные образы героев карело-финского эпоса, как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и другие в русских былинах. Он рекомендовал не увлекаться сказочностью и волшебством, которые есть в тексте.

Никогда не забуду первого обсуждения наших работ. Мой коллега М. Мечев и я представили по несколько цветных листов на основные сюжеты эпоса. Мне особенно нравился лист, где я изобразил мать, воскрешающую Лемминкяйнена. Много времени ушло на рисование с натуры обнаженной фигуры сына, безжизненно распростертой на скале. Я старался изобразить тело погибшего со всеми анатомическими подробностями.

Отто Вильгельмович сразу же заметил этот лист: «Как хорошо передано мертвое тело, даже по цвету видно, что это труп... Матери просто посочувствовать хочется... Бедная женщина, сколько страдания на ее лице! И лебедь как символ смерти есть, все правильно». Затем последовала пауза и... неожиданный вопрос: «А зачем все это? Ведь дело не в том, что он мертвый, и не живой водой ему будет возвращена жизнь, а всепобеждающей любовью материнского сердца... Она герой, а не просто любящая мама... Вспомните, как она разыскивала сына, превращалась и в птицу, и в зверя, и в рыбу. Это же подвиг! Нет, слабой, слезливой ее показывать нельзя», — заключил Куусинен.

Рассматривая «Марьятту» Мечева, изображенную девочкой с ребенком на руках, Отто Вильгельмович вдруг сказал: «А ведь я ее где-то видел... Да-да, конечно, она живет в нашем доме, я часто встречаю эту девочку на лестнице». Мы переглянулись. Товарищ по оружию расте-



О. В. Куусинен. Бумага, уголь.



Пейзаж. Иллюстрация к «Калевале». Бумага, тушь.

Вяйнямейнен.
Иллюстрация
к «Калевале».
Бумага, тушь.



рянно смотрел на Отто Вильгельмовича: «как же так, создан образ к эпическому произведению, а его чуть ли не вчера видели на лестнице?!»

На лице Куусинена блуждала мягкая, лукавая улыбка... Мы поняли, что тут «заложена мина». И действительно, развивая свою мысль, наш взыскательный критик дал понять, что выполненный рисунок слишком современен и образом для «Калевалы» служить не может. По поводу «хозяйки Севера» — старухи Лоухи он сказал, что она должна быть не столько страшной, сколько сильной... Ведь она воплощает в себе все зло мира.

Много интересных и ценных для нас суждений высказал Куусинен и по другим образам «Калевалы». Отто Вильгельмович как никто иной глубоко понимал прогрессивный дух этого произведения.

Работая над иллюстрациями в течение нескольких лет, мы много раз встречались с нашим вдохновителем и слушали его советы. Долго у меня и моего коллеги не получался основной герой Калевалы — Вяйнямейнен. Мы рисовали и огромную бороду, и белоснежные волосы, и целый лабиринт морщин, одевали его в домотканые одежды, сбоку привешивали незаменимый нож, в руки давали кантеле... а мудрого старца не было!

Мы привыкли к тому, что Отто Вильгельмович часто удивлял нас своими смелыми рекомендациями, но когда он посоветовал однажды попытаться сбрить Вяйнямейнену бороду, мы возмутились. Нам

Куллерво. Иллюстрация к «Калевале». Бумага, тушь.



это показалось настолько кощунственным, что, взглянув на него с сожалением, мы впервые подумали, что он явно перехватил.

Много позже, когда утвердили к изданию две книги, на русском и финском языках, и когда я уже самостоятельно работал над оформлением финского издания «Калевалы», до меня дошло, что тот совет был не случайным: Отто Вильгельмович хотел, чтобы мы разом покончили со всеми штампами, вырвались из плена внешних атрибутов и сосредоточили свое внимание на психологии героев, на их моральных качествах. Он не раз повторял, что нельзя текст понимать прямолинейно, что Вьяннямейнен — не колдун и не волшебник, что в этом человеке, его словах и действиях, сосредоточена вся мудрость народа Калевалы.

Впоследствии я имел возможность встречаться с этим замечательным человеком и в домашней обстановке, наблюдать его вне служебной деятельности. Карельский историко-краеведческий музей заказал мне несколько портретов партийных и советских руководителей нашей республики. Для встречи с О. В. Куусиненом я приехал в Москву и приступил к работе у него на квартире. Отто Вильгельмович оказался очень милым и внимательным хозяином.

В разговорах во время работы затрагивались различные вопросы, и меня не переставала поражать эрудиция Отто Вильгельмовича. Даже когда мы касались таких специальных вопросов, как живопись, изобразительное искусство, разговор велся на равных. Меня покорила и манера говорить моего собеседника: он никогда не настаивал на своем, а очень деликатно, приводя множество примеров, заставлял убеждаться в его правоте.

Интеллигентное лицо Отто Вильгельмовича — высокий лоб, умные, внимательные глаза, прямоугольный подбородок и мягкие очертания губ — очень гармонировало с его голосом и манерой говорить.

Куусинен не позировал мне специально. Во время сеансов он работал за письменным столом. Лицо его время от времени принимало очень сосредоточенное выражение, и он как бы уходил в себя. Глубже обозначались складки на переносице, рот изменял свое обычное очертание. Работать становилось трудно. Куусинен явно забывал о моем присутствии, а я стеснялся напомнить о себе...

После двухчасовой работы мы садились пить ароматный черный кофе по-фински, и мой хозяин заводил разговор о ком-нибудь из художников. Художественное творчество он часто связывал с теоретическими вопросами развития изобразительного искусства, и я все больше убеждался в его глубокой образованности.

Отто Вильгельмовича уже нет среди нас. Всматриваясь в его портрет, я вижу, что он получился официальным. Не удалось мне передать лучших черт его характера. Но облик этого человека еще свеж в моей памяти, и я попытался сделать графический портрет углем на бумаге.



Т. И. Антикайнен. Офорт.

Готовилась очередная республиканская выставка карельских художников в помещении филармонии. Прикрепляя последние этикетки, я увидел двух только что вошедших людей. Одного из них узнал сразу — это был секретарь по пропаганде Карело-Финского ЦК партии Иосиф Иванович Сюкияйнен. Второй был мне незнаком.

Невысокий, компактно сложенный человек легкой походкой переходил от работы к работе, внимательно рассматривая некоторые экспонаты. И вдруг я узнал в нем Антикайнена. Несколько пополневший, с поредевшими волосами, он напоминал того человека, которого я видел на фотографиях прошлых лет. Так вот он какой герой, еще при жизни ставший легендой!

Иосиф Иванович представил меня как председателя Союза художников республики. Его спутник просто подал руку, улыбнулся, тихо произнес: «Антикайнен». Мы познакомились. Отвечая на какие-то вопросы, я не мог оторвать от него взгляда. В общем светлое лицо с довольно крупным носом, волевой, раздвоенный подбородок, правильные, четкого рисунка губы, внимательные голубые глаза с каким-то застенчивым выражением — в моей голове не укладывалось, как человек с такими «мирными» чертами лица мог в бурный 1917 год стоять во главе социалистической молодежи, своими пламенными речами и железной волей увлекать ее за собой? Вспомнились слова Мартина Андерсена Нексе об Антикайнене: «О нем рассказывались легенды, его борьба стала мифом. В нем олицетворялись военное счастье и военный гений. Он появлялся всюду с такой молниеносной быстротой, что народ утверждал, будто он может одновременно быть в нескольких местах». И этот былинный герой так просто, как рядовой зритель, ходит по выставке, знакомится с молодым искусством Карелии!

Наконец, речь зашла о написании с Антикайнена портрета. С неподдельной скромностью он отклонил это предложение, сославшись на то, что для этой цели можно найти личность поинтереснее. И только после настойчивых объяснений со стороны И. И. Сюкияйнена о том, что портрет нужен для музея, для истории, было получено принципиальное согласие. Но, к моему великому сожалению, осуществить этот замысел так и не удалось: вначале куда-то уехал Тойво Иванович, потом я с фольклорной экспедицией все лето провел вдали от города...

Из окна своей квартиры я несколько раз видел Антикайнена гуляющим по набережной. Даже не верилось, что такой человечество шагает без почетного эскорта и старается быть незамеченным. Когда он скрывался из поля зрения, я вновь и вновь задумывался о его жизни, вспоминал факты его богатой биографии. Десять лет в глубоком подполье руководил Тойво Антикайнен коммунистической партией Финляндии.

Его схватили и предали суду, обвинив в государственной измене. Однако процесс обернулся против организаторов. Это судилище стало известно всему человечеству и всколыхнуло мировую печать. Адвокаты разных стран предлагали свои услуги. Реакция добивалась вынесения смертного приговора, но эта затея провалилась. Появилась гневная петиция, под которой стояли подписи трехсот тысяч человек. В мае 1940 года по требованию Советского правительства Антикайнен был освобожден и приехал в нашу страну, которая стала его второй родиной.

...Однажды, заметив, что Антикайнен прогуливается по набережной, я подошел к нему и завязал разговор. Хотелось из уст главного героя знаменитого похода услышать хоть несколько слов об этом беспримерном рейде. Мой товарищ по Академии художеств М. Зайцев написал картину, в которой изобразил момент подъема лыжников отряда Антикайнена на Масельгский кряж. Мне казалось, что он слишком увлекся показом обессилевших людей, которые, по моему мнению, уже не способны были двигаться дальше и выполнять задание. Антикайнен полностью со мною согласился и сказал, что в литературе трудности этого похода преувеличены. Свои заслуги он оставлял в тени, подчеркнув, что успех был обеспечен хорошим подбором курсантов и их физической подготовкой, а также внезапностью нападения.

Время не стерло из памяти подробностей нашей беседы, хотя, разговаривая с Антикайненом, я внимательно вглядывался в его лицо, стараясь как можно лучше запомнить черты этого человека. Слушая его воспоминания, я видел в нем то командира, то строгого начальника, то упрямого, настойчивого бойца, но всегда чуткого человека, хорошего товарища.

Много лет спустя, уже после гибели моего героя, я написал картину «Антикайнен в походе», но эта работа меня не удовлетворила. Недавно я сделал вторую попытку создать его портрет в офорте. Думаю, что еще не раз вернусь к этой теме. Об Антикайнене должны быть созданы достойные народного героя произведения искусства.

Первая встреча с Адольфом Петровичем Тайми оставила противоречивое впечатление — уж очень большим оригиналом он мне показался. По делам Союза художников я был принят им как Председателем Верховного Совета республики. Войдя в кабинет, увидел седого человека, подстриженного под бобрик. Что-то задиристое и нахотленное было в выражении его лица. Тайми внимательно рассматривал стул, держа его вверх ножками. Было похоже, что он его ремонтирует.



А. П. Тайми. Бумага, уголь

На довольно чистом русском языке Адольф Петрович пригласил меня сесть, поставил стул, еще раз бросив на него критический взгляд, и неторопливо прошел на свое место.

Как всегда бывает при первой встрече и знакомстве, я чувствовал себя неловко и скованно, но напряженное состояние очень скоро прошло, быть может, оттого, что в разговоре Тайми, не стесняясь, просил разъяснить непонятные ему вещи и внимательно слушал меня. Бывал я у Тайми довольно часто и вскоре убедился, что его манера просто держаться с посетителями естественна. Он был простым и скромным человеком, и это быстро сближало его с людьми.

Работая над созданием серии портретов старых большевиков, я попросил и Адольфа Петровича мне попозировать. Условились встретиться у него дома в рабочем кабинете. Чтобы Тайми не скучал, мы договорились, что он будет рассказывать о своей молодости.

За десять дней нашей работы Адольф Петрович бегло перелистал «книгу» своих воспоминаний. Удивительна судьба этого человека! Его рассказ о пройденном пути производил на меня столь сильное впечатление, что я временами откладывал кисть, не мог работать.

Долгие годы, проведенные в тюрьмах царской России и «демократической» Финляндии, из которых семь лет Тайми находился в одиночной камере, не сломили волю этого человека, не лишили его оптимизма. Он даже свадьбу справил в тюрьме, в приемной, за 15 минут. А на другой день его отправили по этапу.

Спросив Тайми однажды о детских годах, я понял, что вспоминать об этой поре жизни ему еще трудней. Ответил коротко, как на анкетный вопрос: «Родился в бедной семье. В шесть лет тяжело болел, едва не лишился зрения. Из десяти детей в семье выжили трое». Да, и счастливое детство его тоже обошло стороной...

Я слушал и думал: «Неужели все это мог вынести один человек, где он черпал силы? Какая же нужна была убежденность в правоте дела, за которое он боролся, чтобы, вырвавшись из тюрьмы, снова продолжать революционную деятельность!»

Адольф Петрович Тайми был участником революции и гражданской войны в Финляндии, в 1918 году входил в Революционное правительство Финляндии в качестве народного уполномоченного по военным делам. С особым волнением вспоминал он, как обратился за помощью к Ленину, когда революционно настроенные финские рабочие решили вооружиться, и как Владимир Ильич на его заявлении написал: «Просьбу тов. Тайми следует удовлетворить полностью».

Тайми рассказал, что в апреле 1917 года вместе с другими рабочими встречал Ленина у Финляндского вокзала, слушал его речь. Он был знаком со Свердловым, Ворошиловым и другими видными деятелями коммунистической партии.

Портрет подвигался медленно: Тайми увлекался рассказом, а я — слушанием. Выражение лица моей натуры настолько менялось, что, как на экране, отражало переживания прошедших лет. Это помогало мне все же установить в характере моего героя главное и постоянное.

В дни работы над портретом Тайми уже трудился над книгой своих воспоминаний. Мне рассказывал И. И. Сюкияйнен, что нелегко было убедить Адольфа Петровича в необходимости взяться за эту работу. «Какой я деятель, чтобы писать о себе воспоминания, — говорил он. — Лучше я сделаю что-нибудь из железа». Но книга все же была написана, и она завоевала широкую популярность у читателей.

Когда портрет был готов, Тайми долго и внимательно смотрел на свое изображение и, наконец, сказал, что я ему польстил, сделал его привлекательней. У меня не было таких намерений. Удивленный репликой Тайми, я постарался взглянуть на портрет глазами постороннего.

Плотная фигура в темно-синем костюме. Светлое окно сзади четко обрисовывает силуэт уже немолодого человека. Слева на лицо падает скользящий теплый свет, который задерживается на контуре характерного носа и бликом зажигается в левом глазу. Внимательный взгляд с приспущенными веками устремлен в книгу. Сочетание торчащего бобрика и разреза тонких губ вызвало у меня ассоциацию с рассерженной птицей. Я сказал об этом Адольфу Петровичу. Рассмеявшись, он согласился с моей аналогией: «Действительно, я таким бываю». На самом деле это внешнее сравнение не имело отношения к его характеру, но что-то упрямое, непокорное постоянно было в его лице, в зеленых глазах.

Революционные ветры носили Тайми по разным городам земного шара, он многое видел, много пережил. Но особенно часто вспоминал дни освобождения его из финской тюрьмы и передачи Советской власти на границе. Он говорил, что чувства, которые тогда нахлынули на него, описанию не поддаются. Адольф Петрович Тайми был и оставался до конца своих дней настоящим коммунистом, беззаветно преданным идеям партии.

Работа над портретами видных политических и общественных деятелей Карелии столкнула меня с замечательной женщиной — Аурой Ивановной Кийскинен. Более семидесяти лет принимала она личное участие в революционном движении и общественной деятельности сначала в Финляндии, а потом, после поражения революции 1918 года, в Советской России, которая стала ее второй родиной. Пламенный агитатор, пропагандист передовых идей своего времени, активный деятель международного женского движения, Кийскинен за свою долгую жизнь

и годы подпольной работы была свидетелем и участником многих событий революционных лет.

И вот этот живой участник истории у меня в студии. Аура Ивановна и слушать не хотела о том, чтобы работать у нее дома. Она решительно заявила, что главное — это мое удобство и что ей даже полезно подниматься по лестнице на пятый этаж... Зная о ее непреклонном характере, я понял, что настаивать бесполезно.

При первом взгляде казалось, что передо мной суровый и даже суховатый человек. Жесткий разрез рта, тяжелые нависающие веки, тучное, медлительное в движениях тело, узловатые пальцы рук. Прожитые годы глубокими морщинами врезались в ее лицо. Они, как жизненные маршруты, шли в разные стороны. Но в разговоре лицо Кийскинен смягчалось, резкие черты сглаживались, и она словно светлела. В такие минуты я особенно ясно ощущал, что в ней еще много жизненных сил. Люди, близко знавшие Ауру Ивановну, неизменно отзывались о ней, как о человеке простом, мягком, душевном, всегда готовом прийти на помощь.

Работал я над портретом Кийскинен с большой охотой. Приходила она всегда вовремя, сидела хорошо, спокойно. От нее я услышал много интересного. Она встречалась и работала с такими людьми как Отто Куусинен, Эдуард Гюллинг, Александр Шотман, Густав Ровио. Была участницей Второй международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене, на которой председательствовала Клара Цеткин и где был утвержден Международный женский праздник — День 8 марта. Ауре Ивановне посчастливилось два раза видеть и слышать Ленина.

Мне очень нравилось выразительное, имевшее крупную скульптурную форму лицо Ауры Ивановны. Как говорят художники, тут было за что «уцепиться». Главное внимание я сосредоточил на глазах. Мне казалось, что в них отражается вся героическая летопись ее жизни и деятельности.

На портрете Кийскинен выглядит несколько суровой. Но когда знакомишься с ее биографией и узнаешь, что она воспитывалась в чужой семье и с ранних лет была вынуждена вести самостоятельную жизнь, становятся понятными некоторая жесткость черт ее лица и строгость в выражении глаз.

Ауры Ивановны уже нет в живых. Но в памяти моей сохранился светлый образ этой мудрой, скромной, необыкновенной женщины.

Когда в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства СССР был построен павильон Карело-Финской республики, меня попросили взяться за его оформление. Совместно с московским художником Полозковым мы, разработав проект, предложили в одном из залов, посвященном культуре и народному творчеству республики,



А. И. Кийскинен. Бумага, уголь.

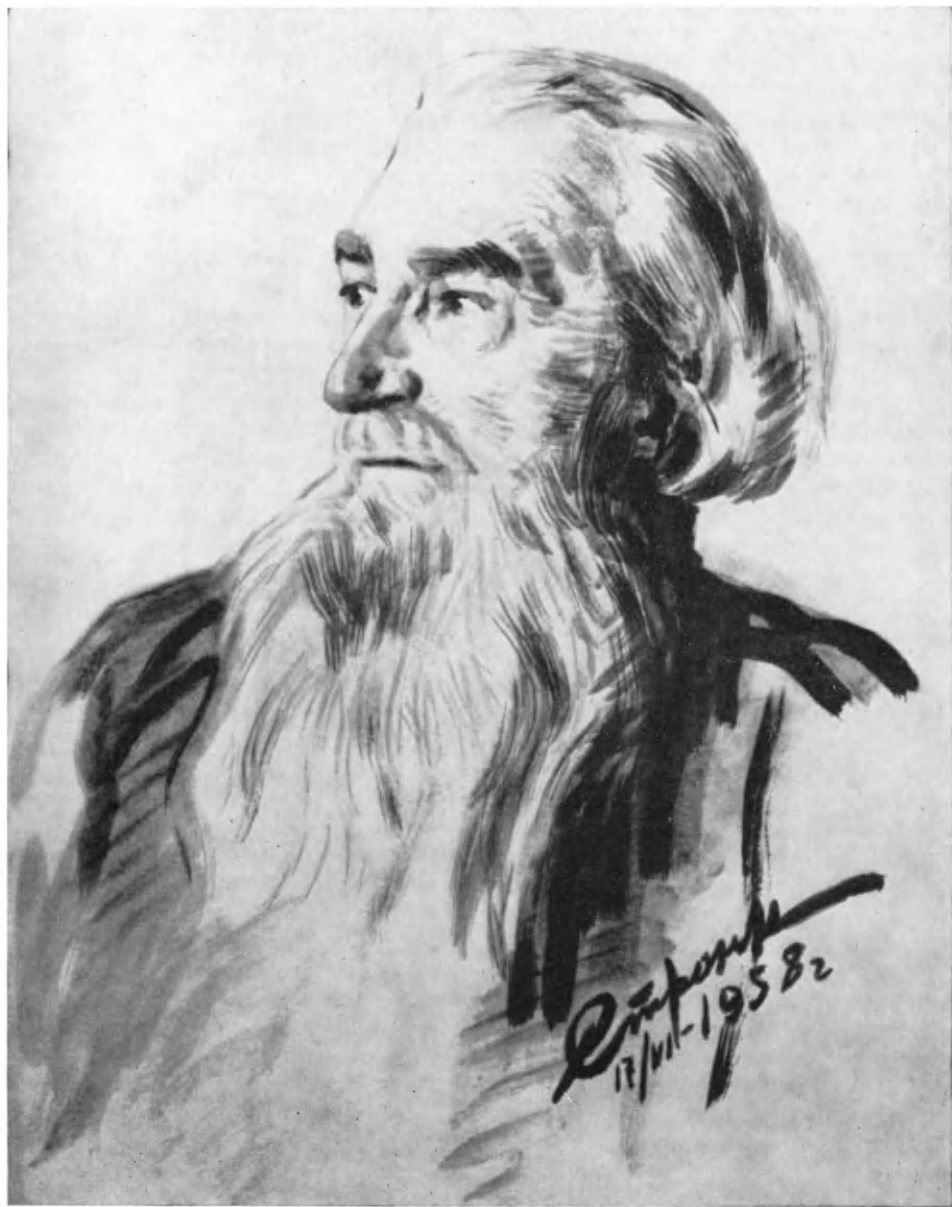
установить монументальную фигуру рунопевца, вырубленную из дерева. Пользуясь правом главных художников выбирать скульптора, мы попросили С. Т. Коненкова выполнить эту работу. Сергей Тимофеевич согласился и вскоре прибыл в Карелию для сбора необходимого материала и поисков типажа.

В большинстве поездок Коненкова по республике принимал участие и я и получал от этого неизменное удовольствие. Мы побывали во многих отдаленных деревнях, где, по слухам, еще можно было найти и старинное кантеле и исполнителя. Однако нам долго не везло: встреченные нами бородачи, смущаясь, отрицательно качали головами. Словно стыдясь прошлого, они говорили, что теперь это баловство никому не надо». А один даже предложил сыграть на баяне...

Но Сергей Тимофеевич надежды не терял и в маленькой деревеньке за Ведлозером применил другую тактику: собрал стариков и начал с ними угощаться «для первого знакомства». После стакана водки отчужденность исчезла. Беседа пошла легче. Московский гость, аппетитно уплетавший вместе со стариками котлеты из медвежатины, уже воспринимался как «свой». Когда начались песни, Коненков спросил, не может ли кто показать, как играют на кантеле. Оказалось, что играть умеют все, но инструмента ни у кого не сохранилось. Поднялся галдеж, всем хотелось как-то отблагодарить за угощение. И тут один из старичков вспомнил, что у него в подвале вроде бы еще валяется инструмент, только струн на нем нет. Послали парня. Он вернулся минут через двадцать с кантеле в руках.

Это была выдолбленная из дерева коробка грубой работы, но своеобразной формы, покрытая тонкой крышкой с вделанными в нее деревянными колышками для струн и круглой дыркой. Того же паренька отправили в магазин за струнами, и он, чтобы не ошибиться, скупил весь имевшийся ассортимент. Сразу взялись за настройку. И вот «сладкозвучное» кантеле ожило. Державший его в руках музыкант как-то вытянулся, посерьезнел, глаза его устремились вдаль... Он запел. Шутки, прибаутки сразу оборвались. Даже хвадившие лишнего односельчане замерли во внимании. Воцарилась почтительная тишина. Старик, напоминавший Баяна из картины Васнецова, пел о чем-то стародавнем, заветном.

Тихонько подходили возвращавшиеся с работы крестьяне, вечно спешащие хозяйки, девочки с ребятишками на руках и молча усаживались вокруг. Случайно взглянув на Коненкова, я увидел, что вся его фигура, застыв в неподвижности, выражала глубочайшее уважение и восторг. Он смотрел на певца не мигая и, казалось, не дышал. Лицо его было озарено удивительной улыбкой — он тоже находился в состоянии творческого вдохновения и уже мысленно «лепил» своего рунопевца.



С. Т. Коненков. Бумага, тушь.

Ни музыку, ни пение нельзя было назвать красивыми или музыкальными в обычном понимании этого слова. Дребезжащее кантеле, надтреснутый голос исполнителя... Но было в этих звуках что-то такое, что пробуждало в слушателе силу, веру в себя, теплое чувство к окружающим. Невозможно было оставаться к ним равнодушным. Это очарование было нарушено глупым бараном. Его отвратительное «ме-е-е» дружно подхватили овцы. Концерт был испорчен. Слушатели словно проснулись, хозяйки вдруг заторопились по своим делам.

Разлили по последней, понемногу беседа оживилась. Сергей Тимофеевич стал подбирать на кантеле какую-то мелодию.

Этот вечер дал скульптору многое. Старик, игравший на кантеле, послужил образом для рунопевца, а подаренный им инструмент — натурой для скульптурной композиции.

Однажды, вернувшись из очередной поездки в район, наша «Волга» остановилась у моей мастерской. Вылезая из машины, мы увидели группу ребятишек. Сергей Тимофеевич поманил их пальцем и стал угощать конфетами. В стороне стояла маленькая девчушка и пристально смотрела на доброго дедушку. Видя, что она не подходит, он сам подошел к ней и протянул горсть конфет. Не отрывая глаз от Коненкова, девочка произнесла: «Дедуска, а дедуска, ты не Дедуска-Мороз?»

— Да-да, милая, я Дедушка-Мороз,— смеясь до слез, ответил Коненков.

...За несколько лет нашего знакомства я не раз бывал у скульптора в мастерской, и мной неизменно овладевало чувство благоговения. В Коненкове мне нравилось положительно все: и его гордо посаженная, словно отлитая из серебра, голова мыслителя, и умный, пронизательный взгляд, и длинная белая борода, и все еще стройная фигура. Я видел много работ этого крупнейшего ваятеля, выполненных в разном материале. Но больше всего меня пленили его деревянные скульптуры. Здесь нет ему равных ни у нас, ни за рубежом. Знаменитые коненковские старички-кленовички — подлинные шедевры, их ни с чем не перепутаешь, их не с чем сравнить. Они так же самобытны и национальны, как и вся наша русская культура.

Сила работ Коненкова заключена прежде всего в мысли, которая в них вложена, в страстной любви к Родине. Может быть, потому его произведения последних лет выглядят так же молодо и свежо, как и скульптуры, выполненные десятки лет тому назад.

О работах Коненкова уже много написано. Хочется упомянуть лишь об одной, глубоко тронувшей мое воображение, — о скульптурном портрете Паганини. Точнее, это не портрет, даже не образ. Это что-то неизмеримо большее. Я много читал об этом музыканте, о его драматичной жизни, о виртуозной музыке. И в моем представлении он никак не мог воплотиться в реальные формы. Помогла мне

деревянная скульптура Коненкова. Его Паганини наполовину создан самой природой. Причудливые корни от прикосновения художника ожили, приобрели форму рук, длинных нервных пальцев и поистине сатанинского профиля. И все это, объединенное вдохновенным порывом, обрело внутреннюю жизнь. Несмотря на, казалось бы, самую фантастическую форму, в коненковском Паганини чувствуется убедительный земной образ. В этом, на мой взгляд, одна из главных особенностей таланта художника-мыслителя.

Рисовать С. Т. Коненкова мне приходилось не раз. Но все это были только беглые наброски во время его выступлений с трибуны или творческих встреч со зрителями.

Колоритная фигура и одухотворенное лицо скульптора постоянно привлекали внимание художников. Мастера изобразительного искусства прямо-таки одолевали его просьбами попозировать. Но я знал, что Сергей Тимофеевич, как правило, деликатно уклонялся от этого.

И все же однажды, когда Коненков, работавший над скульптурной композицией для нашего театра, приехал в Петрозаводск, я рискнул позвонить ему и обратиться с такой же просьбой. К телефону подошла Маргарита Ивановна, жена скульптора. Усомнившись в успехе моего намерения, она все же пообещала поговорить с Сергеем Тимофеевичем.

Через несколько минут последовал звонок — скульптор пригласил меня на зарисовки, поставив одно условие: специально позировать он не



будет, но я могу делать портрет во время его деловой беседы. Коненков пообещал «не очень вертеться».

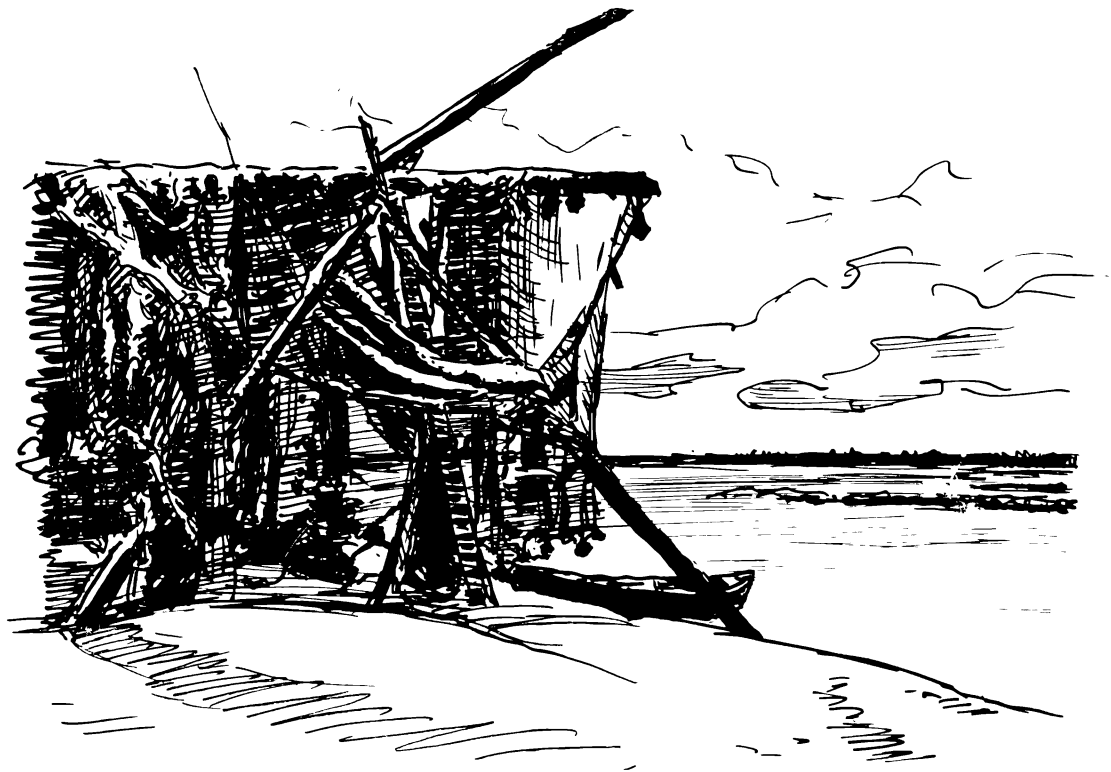
Я и этому был рад. Временами Сергей Тимофеевич забывал о своем обещании сидеть спокойно, и все же портрет я сделал. Правда, мне удалось передать лишь внешнее сходство. Из его портретов особенно дорог мне набросок, сделанный в альбоме: под ним стоит автограф — «С. Т. Коненков».

Еще в годы учебы, когда я впервые приехал из Ленинграда для участия в фольклорной экспедиции по районам Карелии, жизнь столкнула меня с Александром Михайловичем Линевским. Я знал, что Александр Михайлович, шагая от деревни к деревне с рюкзаком за плечами, немало тропинок протоптал по карельской земле. Естественно, что по всем возникавшим вопросам, связанным с экспедицией, я обращался к нему. В дальнейшем совместная работа в Институте культуры дала мне возможность глубже познакомиться с Александром Михайловичем не только как с археологом, историком и этнографом, но и как с очень своеобразным человеком.

На долю Линевского выпало счастье сделать важное научное открытие: в 1926 году на Выгострове, недалеко от Беломорска, в устье реки Выг он обнаружил выбитые на прибрежных скалах рисунки с изображением животных, рыб, людей, целые композиции на темы охоты и рыбной ловли. Поморы эти изображения называли «Бесовыми следками».

Тихая гавань. Из серии «Седое Беломорье». Офорт.

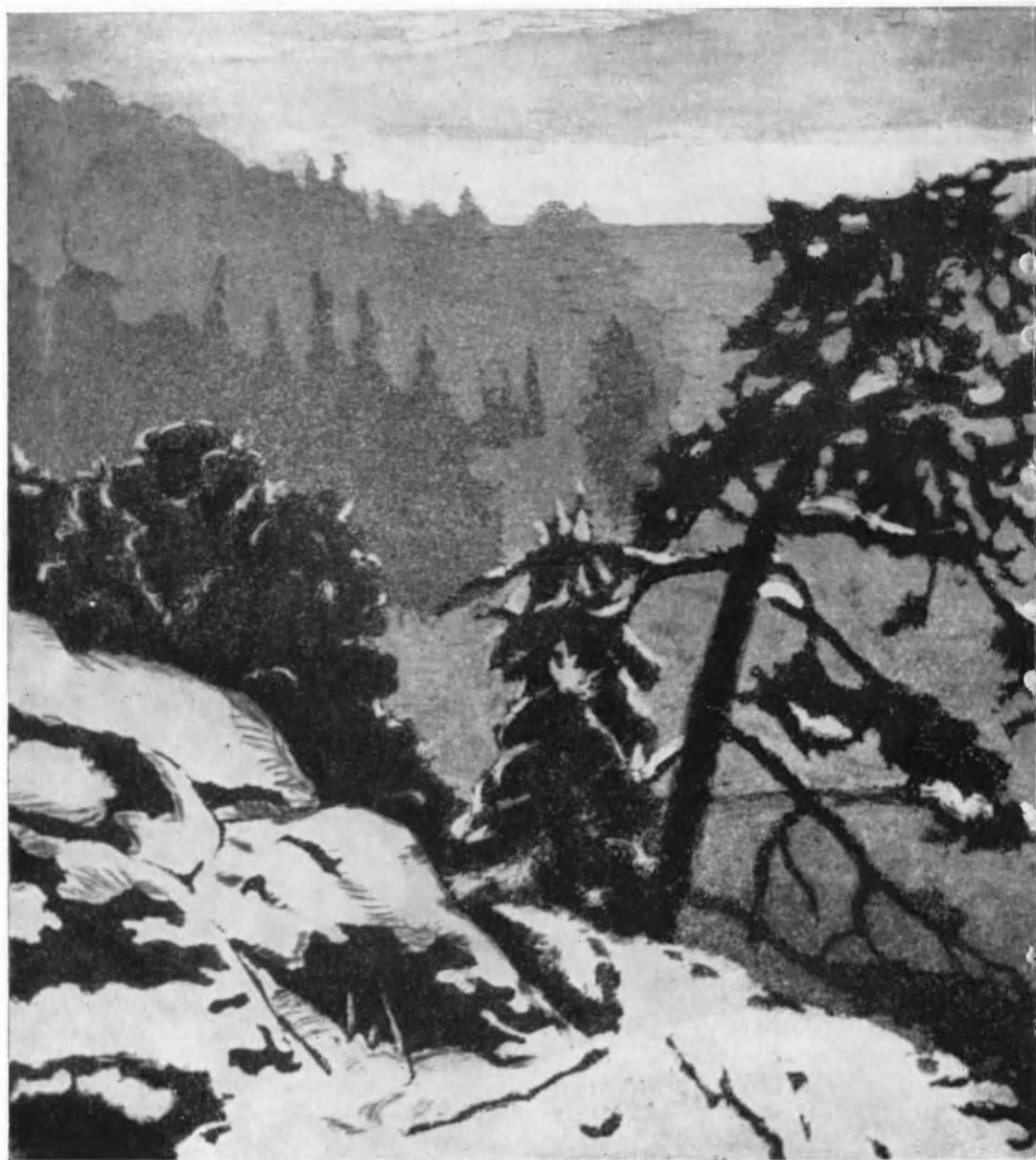




Это открытие предопределило дальнейшую судьбу будущего ученого и писателя. Многолетняя расшифровка древних наскальных изображений превратила его в историка родового общества. Линевский выдвинул и обосновал гипотезу о том, что древние рисунки на скалах связаны с промысловой магией и что создавались они в течение столетий.

Творческая жизнь Линевского началась в популярных журналах «Вокруг света», «Мир приключений», «Всемирный следопыт». Его знаменитая повесть «Листы каменной книги» явилась первым звеном в серии дальнейших произведений писателя на исторические темы. Линевским написано много книг. Среди них почетное место занимает монументальное полотно — трилогия «Беломорье».

В своих лучших произведениях Линевский умело переплавляет прошлое и современность. Герои его книг наделены сильными характерами, они словно бы вылеплены суровой северной природой, ее лесом, скалами, морем. Они не боятся ничего — ни бурь, ни одиночества, ни





Беломорье. Мыс «Картеж». Офорт.

смерти. Превосходное знание этнографии, фольклора помогает писателю проникать в сокровенные тайники духовной жизни поморов, создавать яркие и убедительные образы.

Я читал все произведения Линевого. Но что любопытно, когда упоминают его фамилию, в моем сознании, как условный рефлекс, возникают прежде всего «Листы каменной книги». Впрочем, такое явление закономерно. Для Репина визитной карточкой служат «Бурлаки», для Шишкина — «Утро в сосновом лесу», для Айвазовского — «Девятый вал», для Саврасова — «Грачи прилетели» и т. д.

В деревне Выгостров, где были найдены рисунки на скалах, хорошо помнят их первооткрывателя. Александр Михайлович, работая над своими «Листами каменной книги», не раз туда приезжал и останавливался всегда в одном и том же доме. Как-то беседуя с хозяином этого дома, я понял, почему книга Линевого начинается с крика первобытного человека в лесу. Оказывается, автор, бродя в поисках новых гравюр на скалах, заблудился в сложном лабиринте мелких рукавов Выга и не мог сам вернуться в деревню. Обеспокоенные крестьяне организовали поиски и нашли его на какой-то поляне уже выбившимся из сил. Он сидел на пне и охрипшим, безнадежным голосом время от времени кричал: «Ау... Ау...» Я спросил, был ли такой эпизод, у писателя, но он ответил, что это легенда.

Покоряют постоянная энергия и оптимизм этого не стареющего человека. Несмотря на солидный стаж нашего знакомства — более тридцати лет — я не замечаю существенных изменений и в его внешности: та же легкая походка, та же манера высоко держать голову. Сохранилась и привычка при случайных встречах на улице затеять легкий разговор, а затем, уже на ходу, сунуть, как награду, руку для прощания, засмеяться переходящим в фальцет смехом и побежать дальше.

Во время неоднократных зарисовок портрета Линевого я с удовольствием всматривался в его умные, мыслящие глаза, подвижное лицо, так часто освещаемое улыбкой. Мы подолгу разговаривали, и я всегда поражался его умению так расположить к себе собеседника, что тот готов был посвятить его в самые сокровенные тайны.

Александр Михайлович Линевикий — один из видных писателей нашей республики, тиражи его книг перешагнули за миллион. Ему присуждена первая Государственная премия Карельской АССР. Думаю, что и в вопросе о петроглифах он еще не сказал своего последнего слова, что он еще вернется к расшифровке наскальных изображений. «С чего начал, тем и кончать буду», — любит повторять писатель.

Среди моих первых знакомых в Карелии наиболее яркой личностью был художник Вениамин Николаевич Попов, окончивший Петербургскую Академию художеств по классу Репина.



А. М. Линевский. Бумага, сангина.

Попов родился в захолустном уездном городке Кунгур Пермской губернии. Его родители, не разгадав в свое время подлинного таланта сына, уготовили ему совершенно иную карьеру и отдали на обучение сначала в духовное училище, затем в семинарию. Но юноша сумел пробыть в Петербург и получить высшее художественное образование.

После неоднократных посещений Карелии Вениамин Николаевич полюбил этот край и в 1918 году поселился в Петрозаводске. Он стал пионером развития профессиональной живописи в республике и воспитателем молодых национальных кадров художников. Много сил отдал Попов педагогической и творческой деятельности, всячески пропагандируя в искусстве русскую реалистическую школу, простоту и естественность в работе.

Во время занятий Попов настойчиво повторял: «Учиться нужно у природы и только у природы, она не даст соврать». Требовал верности жизненной правде и говорил: «Попишешь раз со сто — будет просто». «Резинкой-то не рисуй», — часто бросал он мимоходом...

Большая скромность, душевность, правдивость — вот что характеризовало его отношения с учениками и художниками. Часто после занятий Вениамин Николаевич оставался и беседовал со студийцами или, пригласив их к себе домой, показывал этюды и предлагал выбрать что-нибудь «на память».

Любили его и за то, что он никогда не подчеркивал своего превосходства и в отношении к студийцам был товарищем.

Были у него свои педагогические «находки». Иногда, делая учебную постановку, он ставил гипсовый бюст «вверх ногами», чтобы потом в перевернутом рисунке все оказалось «правильным». Живописные постановки делал в одной цветовой гамме, например, из розовых или белых предметов.

На меня, только что приехавшего в Петрозаводск молодого художника, произвели впечатление его внешность и невозмутимость характера. Казалось, этот человек настолько уравновешен, что проявление каких-либо эмоций для него противостоит естеству. Скандинавская борода, венчиком окаймлявшая его лицо, как бы подчеркивала состояние покоя, а добрые, внимательные глаза о чем-то вопрошали. Губы были в постоянной готовности к улыбке. Но иногда глубокие складки на щеках почему-то обозначались резче и лицо его приобретало суровое выражение.

Попову была свойственна некоторая медлительность в движениях и разговоре. Он будто тщательно взвешивал и обдумывал каждое слово и только после этого «выпускал в свет».

Попов создал ряд отличных портретов, которые привлекали внимание ценителей живописи, но, мне кажется, что он все же больше пейзажист, чем портретист. С раннего детства художника окружали дремучие



В. Н. Попов. Бумага, уголь.

леса, реки, заливные луга. До преклонных лет он сохранил подсказанную природой любовь к прогулкам по лесу, сбору грибов и ягод, рыбной ловле, не прочь был поработать веслами, уезжая далеко в открытое озеро.

В течение всей жизни художника природа оставалась главным вдохновителем его творчества. И не случайно, облюбовав чудесное местечко на Укшезере, в деревне Царевичи, он построил себе дачу и жил одной жизнью с односельчанами-рыбаками, среди которых слыл своим человеком. Они охотно ему позировали. Ходил он там в крестьянской одежде, но непременно в берете, давно приобретшем самую немыслимую форму. Общение с природой способствовало тому, что творчество Попова всегда отличалось молодостью и жизненной правдой, а его произведения — душевной теплотой, поэтической задумчивостью и жизнеутверждением. С точки зрения современного направления искусства, его манера письма «устарела». Но он был и остается классиком карельского профессионального искусства.

Пейзажная живопись Попова до сих пор не утратила своего значения. Лучший из его пейзажей — «Осень». В небольшом холсте есть все: эпическая приподнятость, некрасовская задумчивость, философская задумчивость и легкая грусть. Это очень трогает зрителя, и он, как бы переступая за раму картины, испытывает на себе волнующее очарование свежего осеннего дня.

Вениамин Николаевич очень серьезно относился к портретному искусству. Как-то мы договорились, что я напишу его портрет масляными красками. Условились работать у него дома. Ко времени моего прихода он всегда был готов к позированию. Зато я нередко бывал неточен: работа председателя Союза художников в те годы отнимала много времени на организационные хлопоты. Однажды Попов с неудовольствием заметил: «Когда я занимался подобной работой, то не только все другие дела отодвигал в сторону, а даже мысли свои сосредотачивал исключительно на портрете. В эти дни нужно жить им, дышать им, думать о нем, наблюдать натуру».

Во время сеанса он давал советы: «Не ищите сходства — оно придет само, старайтесь вскрыть характер, наблюдайте за натурой в разном состоянии, настроении, уловите что-то основное, постоянное, характеризующее только ее».

Позировал художник хорошо, и мы порадовались оба, когда портрет получился удачным.

Вениамин Николаевич был настолько интересной натурой, что я сделал с него и рисунок углем, размером в полный лист ватмана. Правда, старый художник и тут на меня ворчал, на этот раз — за выбранный материал. Он уверял, что углем можно делать только наброски и что для длительной работы этот материал непригоден. И как же я был рад,

когда мой терпеливый натурщик дал высокую оценку этому портрету, даже поставил под ним свой автограф. Многим художникам, в том числе и мне, этот рисунок кажется психологичней портрета маслом.

У меня в альбоме сохранился еще один портрет Попова — последний. Рисовал я его уже на смертном одре. Он был все в том же берете, с которым не расставался последние годы жизни.

Скончался Вениамин Николаевич 22 сентября 1945 года в возрасте семидесяти шести лет. Последние годы жизни художника были омрачены гибелью почти всех его работ. В начале войны он собрал у себя на квартире для эвакуации свои картины (среди них было много автопортретов) и этюды. Но вывезти их не удалось. Гибель творческого труда чуть ли не всей жизни была трагедией для их создателя. Именно из-за этой невозвратимой утраты у нас в республике так мало знают Попова. Мы должны способствовать тому, чтобы имя старейшего художника Карелии никогда не было предано забвению.

Упомянутыми в этой книге «встречами» не исчерпывается созданная мною галерея портретов моих современников — она значительно обширней. Я не коснулся, например, героев-партизан, у которых бывал во время войны, людей труда — железнодорожников и рабочих рудников, колхозников и рыбаков, мастеров театра, композиторов и многих других. Все это были очень интересные, незаурядные люди, но я отдал предпочтение тем, с которыми встречался не однажды. Стремясь воссоздать подлинную атмосферу наших встреч, я дополнил портретные зарисовки литературными воспоминаниями. Насколько мне это удалось, пусть судит читатель.



Георгий Адамович Стронк

ПО КАРЕЛИИ

Воспоминания, зарисовки

Редактор

Д. И. ШЕХТЕР

Художественный редактор

Л. Н. ДЕГТЯРЕВ

Технический редактор

Л. В. ШЕВЧЕНКО

Корректор

Г. А. ПРОВОДИНА

Сдано в набор 2/XI 1971 г. Подписано к печати 18/II 1972 г. Е-91043 Бумага 71×91^{1/2},
№ 1. 6,0 печ. л., 7,02 усл. печ. л., 5,93 уч.-изд. л. Изд. № 165. Заказ 4642. Тираж 15 000.
Цена 93 коп.

Издательство «Карелия». Петрозаводск. пл. им. В. И. Ленина, 1. Типография им. Анохина Управления по печати при Совете Министров КАССР. Петрозаводск, ул. «Правды», 4.

